

Часть четвертая.

Гекатомба

I. Борьба в Париже – резня

Незадолго до вступления в Париж 25 тысяч солдат генерала Дуэ член Коммуны Лефрансэ во время обхода линии обороны был поражен заброшенностью и безлюдием ворот Сен-Клу.

Но если бы не предатель Дюкатель, версальцы не захватили бы этих ворот, так как граф де Бофор[146] указывал Тьеру на Мон-Руж, Ванв и Вожирар как на пункты наименее защищенные.

Лефрансэ послал Делеклюзу предупреждение, которое тот, однако, не получил вовремя. Домбровский, предупрежденный, в свою очередь, батальоном федератов, послал добровольцев, которые на время было остановили наступление версальцев, убив у них офицера, переходившего набережную.

Те, кто считал, что сражение, хотя и с запозданием, все-таки еще можно будет дать, говорили друг другу:

– Париж победит или, во всяком случае, умрет непобежденным! Так было с Карфагеном, Нуманцией[147], Москвой, – так будет и с нами.

Домбровский послал на Монмартр одного из своих федератов и с ним трех женщин – Данге, Мариани и меня. Мы должны были постараться пройти туда и торопить с организацией обороны.

Не знаю, который был час; ночь была тихая и прекрасная. Что значил час? Теперь надо было постараться, чтобы революция, хотя бы ей пришлось умереть, не была побеждена.

Между тем в Коммуне усиливалось взаимное подозрение. Когда Билльорэ[148] явился туда с депешей от Домбровского, там судили Кюзере, обвиняя его в небрежности, – как будто было время для пререканий.

Заседание окончилось, Кюзере оправдан. Теперь все озабочены только одним – обороной Парижа.

Письмо Домбровского было исчерпывающе ясным:

ДОМБРОВСКИЙ – ВОЕННОЙ КОМИССИИ И КОМИТЕТУ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

Версальцы вошли через ворота Сен-Клу.

Принимаю меры, чтобы отбросить их. Если можете прислать подкрепления, – отвечаю за все.

Домбровский Комитет общественного спасения собрался в ратуше. Здесь наскоро были отданы первые распоряжения; каждый предлагал себя и всю свою отвагу.

Резня началась среди глубокой тишины. Асси[149], возвращаясь с Ля-Мюетт, на улице Бетховена увидел людей, которые лежали на земле и, казалось, спали. Ночь была светлая. Асси узнал федератов и хотел подъехать ближе, чтобы разбудить их, но лошадь его поскользнулась в луже крови. Люди, казавшиеся спящими, на самом деле были мертвы; версальцами был перебит здесь целый пост.

Разве официальная газета версальского правительства своими подстрекательствами не толкала на подобные убийства?

Вспомним хотя бы следующие строки:

“ «Не надо пленных! Если в толпе окажется честный человек, действительно насильно вовлеченный в мятеж, вы его узнаете среди прочих: в такой среде честный человек должен быть окружен ореолом. Предоставьте нашим храбрым солдатам свободу мести за убитых товарищей: в пылу сражения они сделают то, чего на следующий день хладнокровно выполнить не захотят».

Этими словами было сказано все. Солдат убеждали, что они должны мстить за товарищей. Тем, кто возвращался из прусского плена, говорили, что Коммуна в стачке с пруссаками. Солдаты верили и жаждали крови.

Для того чтобы армия не подняла приклады вверх, как 18 марта, пустили в ход старое средство: солдат одурманили смесью алкоголя, пороха и грубой лжи; к старой басне о солдате, распиленном будто бы между двух досок, добавили еще какую-то столь же неправдоподобную историю.

Париж, этот проклятый город, грезивший о счастье всего мира, город, где «бандиты» Центрального комитета и Коммуны, где «чудовища» Комитетов общественного спасения и безопасности только и думали о том, как бы пожертвовать собственными жизнями ради всеобщего блага, этот город был выше понимания буржуазии, эгоизм которой превосходит даже эгоизм феодалов. Этот класс сумел продержаться на известной высоте всего какое-нибудь полстолетие после 1789 года: Делеклюз и Дижон были его последними великими представителями, напоминавшими деятелей Конвента.

Энергичные коммунары – каждый на своем посту.

Теперь, когда тяжелое бремя власти спало с их плеч, фетишизм легальности, наконец, уничтожен сознанием долга: добиться победы или умереть. Вечные иллюзии, вечная подозрительность рассеялись наконец перед величием событий. Свобода вновь обретена ими. Люди Коммуны вновь стали сами собой. Каждый проявлял себя без ложной скромности, без тщеславной узости.

Быть может, Париж устоит? Кто знает!

Десять орудий форта Майо, не прекращавшие пальбы вот уже шесть недель, все еще стреляли, и, как всегда, артиллерист, падавший мертвым у орудия, заменялся другим, который спешил занять его место.

Больше двух человек у орудия одновременно не было никогда.

Моряк по имени Краон, умирая, все еще держал в руках запалы от обоих орудий, по одному в каждой руке.

Имена почти всех героев, погибших в этом месте, остались неизвестными.

Все они будут отомщены в тот день, когда придет час великой борьбы и поднимется восстание во всем мире.

На заре 22 мая был взят Ля-Мюетт. Армия, почти окружившая Париж, соединилась с теми 25 тысячами, которые проскользнули в город ночью.

События этих дней громоздятся в памяти, как будто в несколько суток мы прожили тысячелетие.

Слышится набат: в Париже звонят во все колокола. Федераты стекаются с окраин в центр, к ним уже долетели вести о вторжении версальцев. Хотя наблюдательная вышка Триумфальной арки опровергает это известие, но мысль о необходимости защищать Париж овладевает всеми.

К трем часам утра Домбровский приходит в Комитет общественного спасения. Он слышит обвинения, но не сразу понимает, в чем дело; наконец догадывается:

– Как, – восклицает он, – м е н я могли принять за изменника?

Присутствующие успокаивают его, со всех сторон протягивают к нему руки.

Дерер, приставленный к нему, как Жоаннар к Ля-Сесилиа и Лео Мелье[150] к Вроблевскому, благоразумно утаил от него факт возникновения этих злостных подозрений.

Домбровский видит, что доверие к нему еще сохранилось, но уже поздно: удар нанесен, – Домбровский будет искать смерти.

В мэрии Монмартра Ля-Сесилиа, бледный, готовый пожертвовать всем для борьбы до конца, старается спешно организовать оборону.

Там же собираемся и мы, члены наблюдательного комитета, старый Луи Моро, Шевале и др.

С Луи Моро и другими мы сговариваемся произвести взрыв холма, когда войдут версальцы, ибо мы чувствуем уже, что они войдут. И все-таки мы повторяем: Париж победит. В чем мы, во всяком случае, уверены, так это в том, что будем защищаться до конца, до последней капли крови.

У дверей мэрии к нам присоединяются федераты 61-го батальона.

– Пойдемте, – говорят они мне, – мы идем умирать; вы были с нами в первый день, вы должны быть с нами и в последний.

Тогда я беру слово со старого Моро, что холм будет взорван, и отправляюсь с отрядом 61-го батальона на кладбище Монмартра, где мы и располагаемся. Хотя нас очень мало, мы собираемся держаться, и держаться долго.

Кое-где на стенах мы делаем руками зазубрины.

Гранаты взрывают землю, падая все чаще и чаще.

Кто-то говорит, что мы служим главной мишенью для нашей артиллерии, расположенной на холме, которая, не будучи достаточно дальнобойна, бьет по своим же, а не по неприятелю. Семнадцатого мая было действительно установлено, что место для батарей было выбрано неудачно, и целое утро, несомненно по этой причине, ею не пользовались.

Почти все раненые федераты были, увы, жертвой этой батареи. Мы предупредили ее об этом, когда отправляли раненых в лазареты.

Наступила ночь. Мы были горсточкой готовых на все людей.

Иногда гранаты падали через определенные промежутки времени. Это напоминало тиканье часов, часов смерти.

В эту светлую, напоенную ароматом цветов ночь мрамор памятников казался живым.

Несколько раз мы ходили на разведку: гранаты «тикали» по-прежнему, но другие снаряды нарушали темп и ритм...

Я хотела вернуться одна, но вдруг совсем рядом со мной упала граната, покрыв меня цветами, сорванными ею с ветвей, – это было близ могилы Мюрже[151]. Белое изваяние фигуры, бросающей на могилу мраморные цветы, производило чарующее впечатление. Часть моих цветов я бросила на могилу Мюрже, остальные же – на могилу подруги Пулен, попавшуюся мне на пути.

Когда я вернулась к товарищам, находившимся близ могилы с бронзовой статуей Кавеньяка[152], они мне сказали:

- Теперь вы больше никуда не пойдете.

Я осталась с ними... Из окон соседних домов раздалось несколько выстрелов.

Как будто наступал день. Еще несколько наших ранены гранатами. Наша горсть все уменьшается, а между тем начинается атака; надо бежать за подкреплением. Спрашивают: кто пойдет? А я уже далеко, я уже вылезла через отверстие в стене. Как можно мчаться с такой быстротой! Но мне кажется, что я бегу все-таки слишком долго. Вот, наконец, и мэрия Монмартра.

На площади я вижу какого-то молодого человека, который плачет, что его не хотят взять в армию; у него нет никаких бумаг, ничего... Он принимается мне рассказывать об этом, но у меня нет времени.

- Идемте, - говорю я ему и захожу к Ля-Сесилиа.

Я требую у него подкреплений и подвожу к нему молодого человека, который говорит, что он студент, что он еще не был в бою и хочет сражаться.

Ля-Сесилиа смотрит на него: впечатление благоприятное.

- Ступайте! - говорит он.

И вот с подкреплением в 50 человек мы бежим на кладбище. Молодой человек с нами - он счастлив. Впереди рядом со мной идет Баруа; пули сыплются градом - скорей, скорей; на кладбище идет бой. Мы пролезаем через отверстие и находим на месте лишь 15 человек. Из новых пятидесяти скоро остается почти столько же, убит и наш молодой человек. Нас становится все меньше и меньше; мы отступаем к баррикадам, которые все еще держатся.

Проходят женщины с красными знаменами впереди: у них собственная баррикада на площади Бланш. Тут Елизавета Дмитриева, Лемель, Мальвина Пулен, Бланш Лефевр, Экскофон. Андрэ Лео была на баррикадах Батиньоля. Более 10 000 женщин, группами и поодиночке, сражались в майские дни за свободу.

Я была на баррикаде, преграждавшей доступ к шоссе Клиньянкур. Там-то меня навестила Бланш Лефевр.

Я захотела предложить ей чашку кофе, для чего грозным тоном приказала открыть двери кафе, торговавшего близ баррикады. Хозяин сначала перепугался, но услышав наш смех, принял нас довольно любезно. Кафе после нашего ухода мы позволили ему запереть, раз он уже так боялся.

Мы крепко обнялись с Бланш Лефевр, и она вернулась к своей баррикаде.

Через короткое время проехал верхом Домбровский со своими офицерами.

- Мы погибли! - сказал он мне.

- Нет, - отвечала я ему.

Он протянул мне обе руки; это был последний раз, что я видела его живым.

Он был смертельно ранен в нескольких шагах от этого места; нас было еще семь человек на баррикаде, когда мы снова увидели его, но на этот раз уже на носилках, еле живым: его несли в Ларибуазьер, где он и умер.

Скоро вместо семи нас осталось только трое.

Высокий брюнет, капитан национальной гвардии, сохраняя полное спокойствие перед лицом смерти, говорил мне о своем сыне, мальчике 12 лет, которому хотел на память оставить саблю:

- Вы ее передадите ему.

Как будто можно было надеяться, что кто-нибудь из нас выживет!

Мы разместились так, чтобы втроем защищать всю баррикаду: я посередине, двое других - по бокам.

Второй мой товарищ был коренастый, широкоплечий, белокурый и голубоглазый малый. Он был очень похож на Пулуена, дядю госпожи Эд, но то был не он.

Этот бретонец был уже иного склада, чем вандейцы Шаретта. Проникшись новой верой, он защищал ее с тем же пылом, с каким, без сомнения, сражался за свою старую веру.

На его бледном лице была та же улыбка дикаря, какая играла на лице негра с форта Исси, когда тот обнажал свои белые волчьи клыки. С обоими мне никогда впоследствии не пришлось встретиться.

Никто бы не поверил, что нас было так мало - всего трое. Но мы все-таки держались. Вдруг появляются национальные гвардейцы и приближаются к нам. Мы прекращаем огонь.

Я кричу им:

- Сюда, нас только трое!

В то же мгновение я чувствую, что меня кто-то хватает, поднимает и бросает в траншею за баррикадой, как будто желая прикончить.

Действительно, я была недалеко от смерти. Ибо то были версальцы, переодетые в форму национальных гвардейцев.

Я чувствую себя несколько оглушенной, но невредимой; поднимаюсь – вокруг никого, мои два товарища исчезли. Версальцы обыскивают соседние дома; я спешу уйти в другое место, чувствуя, что все потеряно. В мозгу моем вырисовывается лишь один способ, возможный задержать врага, и я кричу:

– Огонь им навстречу, огонь! Зажигайте дома!

У Ля-Сесилиа, однако, не было подкреплений. Сражение еще длилось; женщины, уцелевшие на площади Бланш, отступили к ближайшим баррикадам на площади Пигаль.

Только что воздвигли баррикаду позади шоссе Клиньянкур, по правую руку от Дельты; был момент, когда версальцев можно было смять между двух огней, но малопредприимчивые люди, находившиеся там, затеяли спор, и момент был упущен.

Домбровского перенесли сначала в ратушу, а затем ночью – на кладбище Пер-Лашез. На площади Бастилии тело положили у подножия колонны, и при свете факелов, образовавших над трупом огненный купол, федераты, шедшие на смерть, приветствовали мертвого героя. Утром он был погребен на кладбище Пер-Лашез, и саваном ему послужило красное знамя.

– Вот, – сказал Верморель, – тот, кого обвиняли в измене!.. Поклянемся, – прибавил он, – что выйдем отсюда только для того, чтобы умереть!

Брат покойного, офицеры его и часть солдат окружали гроб.

Батиньоль и Монмартр были уже взяты. Теперь шла уже просто резня; Элизе-Монмартр был завален трупами. Вдруг, как факелы, вспыхнули Тюильрийский дворец, Государственный совет, здания Почетного легиона и Счетной палаты.

Кто знает, так ли легко будет королям возвратиться, когда эти монархические притоны будут уничтожены!

Увы, целые тысячи королей – денежных королей – вернулись вместе с буржуазией!

Раньше знали только одного монарха: деспотизм империи казался единоличным.

Теперь у деспотизма выросли новые головы; таким он останется и впредь.

Тьер, узнав о взятии Монмартра, следуя своей обычной манере, тотчас же по телеграфу сообщил об этом провинции.

Но языки пламени, вырывавшиеся из зданий, доказывали ему, что Коммуна не умерла.

Это был час беспримерной самоотверженности, неслыханного героизма. Но это был и роковой час, час разгула репрессий. Версальцы принялись косить людей, как траву.

В то время как на кладбище Пер-Лашез отдавали последний долг Домбровскому, был разыскан скрывавшийся на одной из семи заведенных им в Париже конспиративных квартир

Вейсе. Его отвели к Новому мосту, где по приказу Ферре он был публично расстрелян за попытку подкупа Домбровского. Перед смертью он произнес следующие странные слова:

- Вы ответите за мою смерть перед графом Фабрице[153].

П..., комиссар Коммуны, произнес тогда, обращаясь к толпе:

- Этот негодяй - версальский агент: он хотел подкупить наших военачальников. Так умирают предатели!

В каждом квартале, захваченном версальцами, устраивалась настоящая бойня. Жажда крови разгорелась до такой степени, что версальцы убивали даже собственных агентов, вышедших им навстречу.

Уцелевшие федераты владели еще XI округом. Члены Коммуны и Центрального комитета собрались в библиотеке мэрии. Делеклюз подымается и трагическим, похожим на шепот голосом требует, чтобы члены Коммуны, опоясавшись красными шарфами, произвели смотр батальонам. Ему рукоплещут.

И, словно отзываясь на этот призыв, батальоны, теснясь, сами начинают наполнять залу под гром орудий. Происходит такая величественная сцена, что окружающие Делеклюза люди начинают верить в возможность победы.

Ищут начальника инженерных частей. Его нет, быть может, он уже погиб.

Комитет общественного спасения будет действовать, не дожидаясь отсутствующих. Смерть все равно поджидает их. Каждый будет биться до последней капли крови.

В предместье Сент-Антуан стоят три орудия. Прилегающие улицы забаррикадированы.

На площади Шато-д'О возведена стена из булыжника, вынутого из мостовой; на ней два орудия.

Здесь командует Брюнель, на Шомонских высотах - Ранвье.

Вроблевский укрепился на Бютт-о-Кайль. Там еще надежда не потеряна.

У ворот Сен-Дени и Сент-Мартен также еще держатся федераты. Может быть, Делеклюз прав и Коммуна победит? Во всяком случае, Париж умрет непобежденным.

На лестнице, ведущей в мэрию XI округа, сидят, прижавшись друг к другу, женщины и молча шьют мешки для баррикад.

Члены комиссии безопасности собрались в зале мэрии. В момент гибели они окажутся на высоте положения.

Как и Делеклюз, Ферре, Варлен, Ж. Б. Клеман и Верморель сохраняют непоколебимую веру – конечно, в неизбежность смерти.

Ураганный обстрел несется с двух сторон. На площади Шато-д'О вихрь картечи особенно страшен. В эту грозную минуту там появляется Делеклюз.

Лиссагарэ, свидетель геройской смерти Делеклюза, следующим образом описывает эту смерть:

С Журдом, Верморелем, Тейссом[154], Жакларом и полусотней федератов он шел по направлению к Шато-д'О.

На Делеклюзе – его обычный костюм: шляпа, сюртук, черные брюки, красный шарф вокруг пояса, малозаметный, как он всегда его носил. Он шел без оружия, опираясь на трость.

Опасаясь паники на Шато-д'О, мы следовали за нашим другом, за нашим делегатом.

Некоторые из нас остановились у церкви Св. Амвросия, чтобы запастись патронами. Здесь мы встретили некоего эльзасского негодяя, приехавшего пять дней тому назад для того, чтобы свести счеты с Национальным собранием, предавшим его родину; он возвращался из огня с простреленным бедром. Далее – раненого Лисбонна, которого поддерживали Верморель, Тейсс и Жаклар.

Верморель, в свою очередь, падает тяжело раненным; Тейсс и Жаклар поднимают его и уносят на носилках. Делеклюз пожимает раненому руку и говорит ему несколько слов утешения.

В 50 метрах от баррикады несколько гвардейцев, следовавших за Делеклюзом, ретируются, так как град снарядов преграждает им доступ к бульвару.

Солнце садилось за площадью. Делеклюз, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, идет ли за ним кто-нибудь, подвигался вперед, не замедляя шага. Он был единственным живым существом на всем протяжении бульвара Вольтера. Дойдя до баррикады, он свернул налево и взобрался на камни.

В последний раз его строгое лицо, обрамленное короткой седой бородой, мелькнуло перед нами. Оно было обращено к смерти.

Вдруг Делеклюз исчез: он упал, сраженный пулей на площади Шато-д'О.

Несколько человек хотели поднять его – трое или четверо из них тут же упали. Оставалось подумать лишь о защите баррикады, о том, чтобы собрать ее немногочисленных защитников. Жоаннар, стоя посреди улицы, потрясал своим ружьем и, плача от гнева, кричал своим испуганным спутникам:

– Нет, вы недостойны защищать Коммуну!

Шел дождь. Мы вернулись к себе, оставив на поругание врагу, который не уважал даже самой смерти, тело нашего бедного друга.

Он не предупредил никого, когда уходил на баррикаду, никого, даже самых близких. Молча, не доверяя никому, кроме своей суровой совести, Делеклюз шел на баррикаду, как некогда монтажеры шли на эшафот[155].

Во всех округах, захваченных версальцами, ручьями лилась кровь. Кое-где солдаты утомлялись резней и останавливались, как насытившиеся дикие звери.

Не будь репрессий с нашей стороны, резня приняла бы еще более широкие размеры.

Только декрет о заложниках, изданный нами, помешал Галлифе, Винуа и другим окончательно вырезать парижан.

Применение этого декрета заставило карательные взводы приостановить убийство пленных. До тех пор это делалось просто: взятых в плен ударами ружейных прикладов толкали к стене, около которой кучами валялись уже мертвые и умирающие, и там приканчивали их.

В Каледонии нам пришлось встретить счастливцев, которые таким образом избежали смерти.

Рошфор так передает рассказ одного своего товарища по пути (лучше сказать, по клетке, в которой их везли к антиподам):

Только что прикончили пятнадцать пленных, и наступил его черед. Его уже приставили к стене и завязали платком глаза (эти палачи умели иной раз соблюдать формы).

В таком виде он ожидал обычные двенадцать пуль и начинал уже испытывать некоторое нетерпение, как вдруг сержант снимает с его глаз роковую повязку и одновременно кричит в сторону взвода:

– Полуоборот налево!

– В чем дело? – спрашивает приговоренный.

– Дело в том, – тоном сожаления в голосе ответил лейтенант, командовавший взводом, – что Коммуна только что издала декрет, в котором заявляет, что она также будет расстреливать пленных, если мы будем продолжать это делать. Поэтому правительство распорядилось временно прекратить массовые казни.

Вот каким образом тридцати федератам была «дарована» жизнь, но, конечно, не свобода. Их отправили на понтоны, откуда мой товарищ по тюрьме вместе со мной был отправлен в Каледонию[156].

С победой версальцев массовые казни возобновились; у солдат были, как у мясников, красные от крови руки; правительству уже нечего было бояться.

Как ничтожно было число казней, совершенных Коммуной, если его сравнить с 35 000 жертв Версаля – цифрой официально признанной. На самом же деле их было не 35 000, а 100 000, а то и больше.

Узнанный батальоном, над которым он когда-то издевался, и арестованный по обвинению в сношениях с Версалем, удостоверенных многочисленными свидетелями, – граф де Бофор был расстрелян, несмотря на вмешательство маркизантки Маргариты Гиндер, по мужу Лашез, которая сделала все, что могла, чтобы спасти его. Впоследствии ее же обвинили в его смерти и даже в надругательстве над трупом. Это было как бы наказанием благородной женщине за ее старания спасти предателя.

Шодэ, арестованный уже несколько недель назад по обвинению в том, что 22 января он приказал стрелять в толпу, не был бы расстрелян, если бы зверская жестокость версальцев не удвоилась. Ему ставилась в вину следующая телеграмма к Жюлю Ферри, посланная из ратуши 22 января в 2 часа 50 минут дня:

Шодэ согласен остаться на месте, но примите возможно скорее меры к тому, чтобы очистить площадь.

Впрочем, я вам сообщаю лишь мнение Шодэ.

Камбон

Известны были также некоторые выражения самого Шодэ вроде следующего:

– Сильнейшие расстреляют более слабых и без вмешательства Версаля.

И однако до своего заключения в тюрьму он не производил особенно враждебного впечатления. Пусть же смерть его, так же, как и смерть других, как и все ужасы этих дней, падет на голову чудовищ, которые своими расправами над ничем не повинными людьми сделали репрессии с нашей стороны необходимыми.

Колодцы, каменоломни, мостовые – весь Париж был полон трупов. А сколько праха рассеяно по ветру!

Разве солдаты карательного взвода, казнившие первых заложников, эти беспощадные добровольцы, до той поры бывшие самыми кроткими людьми, разве они не кричали то один, то другой:

– Я мщу за своего отца!

– Я мщу за сына!

– Я мщу за тех, за кого некому мстить!

Когда возобновится борьба, тогда выплывут наружу воспоминания, погребенные в земле, и пролитая кровь даст богатые всходы.

Мечь угнетенных! Она будет более великой, чем сама земля.

Самые нелепые легенды распространялись о поджигательницах, обливавших якобы керосином дома. Не было поджигательниц, женщины дрались как львицы и только я одна кричала:

- Жгите, жгите все перед этими чудовищами!

Не только сражавшиеся женщины, но и те несчастные матери семейств, которые считали себя в завоеванных кварталах в безопасности, расстреливались солдатами как поджигательницы. Бывало, выйдет такая женщина с какой-нибудь посудинкой в руках, чтобы достать пищи для детей (например, с молочной бутылкой). Ее хватают:

- Ага, поджигательница! - и приставляют к стенке.

Малыши долго-долго ждали своих матерей.

Несколько младенцев на руках у матерей были расстреляны вместе с ними. На тротуарах рядами лежали трупы.

Казалось, убитые дети хотели сказать своим матерям: мы умрем непобежденными под пеплом Парижа.

Ратуша пылала, как факел. Пламя, раздуваемое ветром, вздымалось стеной. Мстительное пламя отражалось в ручьях крови, струившихся из-под ворот казарм, по улицам, повсюду.

Из казармы Лобо кровь двумя ручьями текла по направлению к Сене, и долго струился туда этот красный поток.

На ступенях Пантеона[157] пал Милльер с криком:

- Да здравствует человечество!

Этот крик был пророческим: теперь именно он объединяет нас.

Риго был убит на улице Гэ-Люссак, где он жил в тот момент, когда был захвачен этот квартал.

П., тот самый комиссар полиции Коммуны, который присутствовал при казни Вейссе, проходя по улице Гэ-Люссак, где после победы «порядка» царило безмолвие ужаса, поднял глаза к квартире, где жили друзья Гастона Дакосты[158]. В окне стоял человек, так пристально глядевший на землю, как будто кто-то ему на что-то указывал.

На тротуаре лежал труп со скрещенными на груди руками; мундир на нем был расстегнут, галуны сорваны, белые маленькие ноги босы (версальцы имели обыкновение разувать свои жертвы), голова была вся в крови, из маленького отверстия на лбу кровь текла по бороде и лицу, делая его неузнаваемым.

Очевидец рассказал ему, что Риго, одетый в мундир командира 114-го батальона, подходил к дому, в котором он жил.

Он собирался сжечь находившиеся в его квартире бумаги.

Солдаты регулярной армии, заметившие его по мундиру, следовали за ним по пятам; они вошли в дом непосредственно после него. Чтобы вернее накрыть его, они сделали вид, что приняли домовладельца по фамилии Кретьен за офицера федератов, дабы тот из страха выдал им Риго, вошедшего в дом на их глазах.

Кретьен стал протестовать, Риго услышал шум и крикнул:

– Я не трус, спасайся сам!

Он смело спустился по лестнице, отвязал пояс, отдал солдатам саблю и револьвер и последовал за ними. На улице им встретился офицер регулярной армии.

– Это еще что за негодяй! – закричал он и, обратясь к пленнику, предложил ему крикнуть:

– Да здравствует Версаль!

– Вы убийцы! – ответил Риго. – Да здравствует Коммуна!

Это были его последние слова. Офицер выхватил свой револьвер и в упор прострелил ему череп; пуля пробила Риго черное отверстие посреди лба.

Долгое время никто не хотел верить смерти Риго; некоторые даже уверяли, что видели его во главе 114-го батальона. Но так как он был известен своей храбростью, то по долговому его отсутствию пришлось в конце концов заключить, что он убит.

После вступления версальской армии в Париж национальные гвардейцы, верные «порядку», стали науськивать солдат на резню: одни просто из предательства, другие из страха, как бы их не приняли за бунтовщиков: эти глупцы, жестокие, как тигры, с удовольствием вырезали бы целый свет, чтобы спасти свою шкуру.

Большинство из них, желая выслужиться перед Версалем, указывали кварталы, населенные сторонниками Коммуны, предавая расстрелу всех, против кого они питали личную злобу.

Глухая пальба пушек, свист пуль, жалобный гул набата, купол дыма, прорезываемый языками пламени, – все это говорило о том, что агония Парижа не кончилась и что Коммуна не хочет сдаваться.

Не все пожары были делом Коммуны. Некоторые домовладельцы и коммерсанты, надеясь в будущем получить щедрую страховую премию, сами поджигали свои склады и залежавшиеся товары.

Другие пожары возникали от снарядов или, наконец, от пылающих соседних строений.

Пожар в министерстве финансов облыжно приписывали Ферре, который, конечно, не стал бы отрицать своего поступка, если бы действительно распорядился поджечь это здание: оно сильно мешало обороне.

Среди добровольных палачей, спешивших выказать свою преданность Версалю тем, что бесплатно помогали вырезать население, были, как говорят, бывший мэр одного из парижских округов, седой старик, один батальонный командир, изменивший Коммуне, и шпионы с трехцветными нарукавниками, действовавшие в качестве простых любителей бойни; они вели за собой своры версальцев, охваченные каким-то кровавым безумием.

Охота за федератами была поставлена, что называется, на широкую ногу; ее практиковали даже в лазаретах; один врач, доктор Фано, не пожелал выдать раненых, находившихся на его попечении: его расстреляли. Примерное зрелище!

Версальская армия пытается вдоль канала и по линии укреплений зайти в тыл последним защитникам Парижа. Баррикада в предместье Антуан захвачена, защитники ее расстреляны, за исключением нескольких человек, укrywшихся во дворе Ситэ-Паршап: другого убежища у них не было. Учительница по фамилии Лоншан указывает им на отверстие в стене, через которое они могут выбраться: они разбирают его и бегут.

Версаль расстилает над Парижем огромный красный кровавый саван; один только уголок города свободен от него.

В казармах трещат митральезы. Бьют людей, как зверей на охоте: настоящая человеческая бойня! Тех, кто не добит, остается на ногах или пытается бежать вдоль стены, убивают спокойно, не торопясь: «Не уйдет!»

Тогда и мы вспоминаем о заложниках: священники и 34 агента Версаля и империи подвергаются расстрелу.

На другой чаше весов лежат горы трупов. Прошло время, когда Коммуна говорила: «Для вдов и сирот мы не различаем цвета их знамени: Коммуна только что послала хлеба 74 женщинам, женам тех, кто нас расстреливает».

Это было недавно: но теперь не время для милосердия.

Ворота кладбища Пер-Лашез, где укрылись для последнего боя федераты, разбиты версальскими ядрами.

У Коммуны нет больше запасов, но она будет сражаться до последнего патрона.

Горсточка храбрецов с кладбища Пер-Лашез дерется против целой армии; бой идет среди могил, в канавах и склепах; бьются врукопашную саблями, штыками, прикладами ружей, чем попало; более многочисленная, лучше вооруженная, сохранившая свои силы для расправы с Парижем версальская армия крошит горсточку храбрецов.

У высокой белой стены, выходящей на улицу Мира, были расстреляны оставшиеся в живых герои. Они пали с криком:

– Да здравствует Коммуна!

Как всегда, вторичными залпами приканчивали тех, кто не был добит первым залпом. Некоторые испустили последнее дыхание под грудами трупов, иные даже – под землей.

Другая горсть опоясанных красными шарфами бойцов последних часов Коммуны отправляется к баррикаде на улице Фонтен-о-Руа; к ним присоединяются и другие члены Коммуны и Центрального комитета: в этот смертельный час большинство и меньшинство протягивают друг другу руки.

Над баррикадой развевается огромное красное знамя: тут оба Ферре, Теофиль и Ипполит, Ж.-Б. Клеман[159], Гамбон[160], какой-то гарибальдиец, Варлен, Верморель, Шампи[161].

Только что взята баррикада на улице Сен-Мор. Баррикада улицы Фонтен-о-Руа упорствует и сыплет картечью в окровавленное лицо Версаля. Но нет, уже чувствуется приближение свирепой стаи волков; в руках Коммуны лишь крошечная частица Парижа: от улицы Фобурдю-Тампль до бульвара Бельвиль. На одно мгновение версальцев останавливает баррикада на улице Рампонно с ее единственным защитником. В тот момент, когда смолкают орудия кладбища Пер-Лашез, продолжают держаться еще только одни защитники улицы Фонтен-о-Руа.

Но надолго ли им хватит картечи? Снаряды версальцев разрываются над их головами.

В тот момент, когда они в последний раз заряжают свои пушки, прибегает молодая девушка, предлагая защитникам баррикады свои услуги. Она пришла с баррикады на улице Сен-Мор, ее убеждают уйти с этого страшного места, но она, не слушая ничего, остается.

Через несколько мгновений баррикада со страшным грохотом выпускает зараз все оставшиеся снаряды и замолкает вслед за этим громовым залпом, который долетел до нас в Сатори, где находились пленники.

Ж.-Б. Клеман посвятил много позже следующую песню «О вишнях» героине последних минут последней баррикады – этой девушке, которой больше никто не видал.

“ О, как люблю я эту пору вишен!
От той поры дано мне сохранить
На сердце рану.
И никаких богатств коварному обману
Моей тоски по ней не утолить...
О, как люблю я вишенную пору
И в сердце памятку о ней.

Коммуна умерла, похоронив под собой тысячи неведомых героев.

Как страшен был этот последний потрясающий и глухой залп из пушек с двойным зарядом! Мы хорошо чувствовали, что это конец, но упорные, как это всегда бывает с побежденными, мы не хотели в этом сознаться.

Я стала уверять, что слышала еще несколько залпов. Стоявший тут же офицер побледнел от ярости, а может быть, от страха, что это правда.

В тот же день, в воскресенье 28 мая, маршал Мак-Магон велел расклеить по безлюдному Парижу следующее объявление:

Жители Парижа!

Французская армия пришла вас спасти. Париж освобожден: в четыре часа наши солдаты овладели последними позициями, занятыми инсургентами. Ныне борьба окончена: порядок, труд и безопасность вновь вступают в свои права.

Маршал Франции, главнокомандующий Мак-Магон, герцог Маджентский В это же воскресенье в районе улицы Лафайет был арестован Варлен; ему связали руки, и так как имя его привлекло всеобщее внимание, его вскоре обступила целая толпа черных от пороха и пыли людей.

Солдаты окружили его, чтобы отвести к пригорку, где находилось лобное место.

Толпа становилась все гуще, но это была не та толпа, которую знали мы, – волнующаяся, впечатлительная, благородная, а другая – та, которая после поражения прославляет победителей и осыпает оскорблениями побежденных, воплощение вечного „Vae victis!“[162]

При падении Коммуны эта толпа деятельно помогала окончательному ее удушению.

Сначала хотели расстрелять Варлена у стены, что у подножия холма, как вдруг раздался чей-то голос:

– Надо еще поводить его!

Другие подхватили:

– Пойдем на улицу де Розье!

Солдаты и офицер повиновались. Варлен со связанными руками должен был войти на пригорок, под крики, улюлюканье и удары толпы негодяев, которых там было до двух тысяч человек. Он шел твердой походкой, с высоко поднятой головой. Какой-то солдат схватил, не ожидая команды, ружье и положил предел его мучениям. Другие бросились добивать его, но он был уже мертв.

Поглазеть на труп Варлена ходил весь Париж, Париж реакционеров и зевак, которые прячутся в минуту опасности и выползают на улицу только тогда, когда им уже нечего бояться.

Мак-Магон потрясал беспрестанно списком в восемьсот с лишним человек, убитых коммунарами, думая оправдать этим террор Версаля: слепцы охотно давали себя убедить.

Винуа, Ладмиро, Дуэ, Кленшан распоряжались бойней; по словам Лиссагарэ[163], они разделили Париж на четыре военных округа.

Насколько прекраснее было бы погибнуть в гигантском пожарище, чем видеть это систематическое превращение города в место бойни!

Нашим пеплом, развеянным по ветру, население было бы меньше терроризовано, чем этой бойней!

Но версальским старцам нужна была кровавая бойня, чтобы согреть в ней свои старческие дрожащие тела.

Какая-то странная печать лежала на развалинах Парижа, оставшихся после этого пожара (пожара отчаяния).

Ратуша, глядя своими пустыми, как глаза мертвецов, окнами, целых десять лет ждала народного возмездия. Она и дальше ждала бы вместе с нами наступления всеобщего мира и братства, если бы не была снесена до основания.

По возвращении из Каледонии я поклонилась ей. Счетная палата и Тюильрийский дворец доныне служат живым свидетельством нашего решения умереть непобежденными, и только теперь развалины предложено убрать для работ по устройству выставки.

Теперь там продают с аукциона фрески Теодора Массеро, из которых лишь одна, «Сила и порядок», хорошо сохранилась. Тут же продают поштучно и деревца, выросшие на развалинах и усеянные гнездами птиц, испуганных таким разгромом.

Что, если бы вместо дворцов догадались сжечь лачуги, так чтобы негде было больше умирать с голоду? Тогда, быть может, не так легко было бы творить кровавую расправу.

Но не будем жаловаться на медленный ход истории: на земле, политой кровью, уже расцветает весна Человечества.

Терпение угнетенных! Оно кажется неистощимым. Но ведь в ожидании прибое волны тоже терпеливы и кротки: они убегают в море длинными плавными рядами. Но скоро, подгоняемые ветром, они вернутся, вздымаясь, как горы, и с ревом обрушатся на берег, чтобы поглотить его в своей пучине.

Нечто подобное мы видели на родине циклонов, где борьба стихий так ужасна: перед нами была картина настоящего сражения. Воды обрушиваются внезапным потоком на леса, хлещут деревья и шумят так, как будто неподалеку происходит настоящая перестрелка.

С треском ломаются деревья, скалы разверзаются расщелинами, и грозный рев бури наполняет равнину среди глубокого безмолвия всего живого.

Слышится грохот обвалов, и вопли, напоминающие чисто человеческие стоны, несутся повсюду, прерываемые через определенные промежутки времени, словно пушечными выстрелами, предупреждающими об опасности.

Громче медных труб – гул ветра. Электричество, насыщающее воздух, опьяняет, как запах пороха.

Волны ревут, кидаясь приступом на скалы, хватая их своими белопенными когтями.

Океан, как бы приподнимаемый чем-то, с ужасной силой вдруг низвергается в пропасть. Точно чьи-то громадные руки схватили его, сжали и месят, как тесто. К сердцу буйной волной приливает кровь, – и все эти смутные видения бездны и видения прошлого, восстающие в этой игре разнузданных стихий, смешиваются воедино...

От беспощадной парижской резни впечатление было почти то же. Но тогда вставали перед нами другие картины, картины отдаленного будущего, увлекающая сердца к борьбе.

Быть может, в эти минуты мы переживали один из вековых катаклизмов вселенной.

Когда Коммуна испустила последний дух, вслед за регулярной армией и несколько раньше трупных мух появились привлеченные запахом человечины женщины-вампиры. От них веяло, казалось, каким-то далеким прошлым, но, может быть, их просто мучила безумная жажда опьянения кровью.

Элегантно одетые, они бродили по всей территории бойни, упиваясь зрелищем мертвецов и кончиками зонтиков прокалывая их окровавленные глаза.

Некоторые из них были приняты за «поджигательниц» и расстреляны на месте.

II. Холодная подачка

Вечером, после охоты, когда собаки съедят свою «горячую» порцию прямо над трепещущим телом затравленного зверя, егеря бросают им хлеба, пропитанного кровью. Такая «холодная» подачка была кинута и версальскими буржуа исполнителям их воли.

Сначала массовое избиение происходило в каждом квартале по очереди, по мере занятия их регулярной армией, затем началась «охота на федератов» в домах, лазаретах, повсюду.

В катакомбах охотились с собаками и факелами; то же самое было и в «американских каменоломнях», но тут охотились с некоторой опаской.

Однажды версальские солдаты заблудились в катакомбах и думали уже, что погибли.

Вызволил их оттуда один федерат, которого они только что арестовали; не желая его расстреливать, они оставили его в живых. Конечно, они умолчали об этом, иначе бы начальство предало их самих смертной казни. Но они стали рассказывать про катакомбы

самые ужасные вещи.

Распространился слух, что вооруженные федераты прячутся в «американских каменоломнях». Увлечение этими охотами, организованными по образцу английских охот на лисиц, стало ослабевать.

Иной раз случается, что лиса замечает охотников и собак, но, усталая от погони, «ленится» обратиться в бегство.

И вот такое же равнодушное нежелание утруждать себя, отвращение к бегству овладело и преследуемыми людьми.

Некоторые из них умерли там с голоду, грезя о свободе.

Версальские офицеры, будучи полными хозяевами жизни заключенных, распоряжались ею по собственному усмотрению.

Теперь митральезы пускались в ход меньше, чем вначале; если число приговоренных к казни превышало десять, к услугам палачей были удобные застенки, крепостные казематы, которые запирались; если же трупы чересчур загромождали их – под рукой был Булонский лес: убийство можно соединить с прогулкой.

Но так как груды трупов валялись повсюду, в город стали слетаться огромные страшные рои трупных мух, привлекаемые зловонием этой громадной мертвецкой. Тогда победители из опасения чумной эпидемии прекратили казни.

Смерть от этого ничего не потеряла: заключенные томились в оранжереях, подвалах, в Версале, в Сатори; везде было страшно тесно, раненые не имели даже белья. Заключенных кормили хуже, чем животных. Девять десятых из них вскоре умерли от лихорадки и истощения.

Некоторые из них сходили с ума, увидев за решеткой своей тюрьмы жену или детей.

В то же время дети, женщины, старики бродили вокруг общих могил, стараясь опознать своих среди кучи трупов, которые беспрерывно подвозились на телегах.

Понутив голову, с воем рыскали тут же тощие собаки; чтобы прекратить вой бедных животных, достаточно было удара сабли, – когда же горе женщин или стариков выражалось слишком шумно, их арестовывали.

В первые дни было объявлено – не знаю точно кем – обещание награды 500 франков за указание местопребывания кого-либо из членов Коммуны или Центрального комитета; об этом говорили и во Франции, и за границей. Многие соблазнялись этой наградой за предательство.

Уже 20 мая[164] версальское правительство обратилось со следующим циркуляром к своим представителям за границей:

Милостивый государь!

Гнусные преступления злодеев, побежденных героическими усилиями нашей армии, отнюдь нельзя рассматривать как действия политического характера; они относятся к числу деяний, предусматриваемых и караемых законами всякого цивилизованного народа.

Убийства, грабежи, поджоги были введены у них в систему и организованы с какой-то адской изобретательностью. Виновники их, конечно, не могут рассчитывать ни на какое другое убежище, кроме того, где их ждет законное возмездие.

Ни одна нация не может оставить их безнаказанными. Для какой угодно страны присутствие подобных злодеев и позорно и опасно. Ввиду этого, как только вам станет известно, что кто-нибудь из числа лиц, замешанных в парижских преступлениях, переступил границу страны, в которой вы аккредитированы, предлагаю вам тотчас же требовать от местных властей немедленного задержания вновь прибывшего, а равно безотлагательно известить меня об этом, дабы я мог урегулировать вопрос, потребовав выдачи преступников.

Жюль Фавр

Англия оставила это требование без ответа и принимала беглецов Коммуны; только испанское и бельгийское правительства заявили Версалю о своем согласии выдавать «преступников».

Но Бельгия, где было совершено нападение на дом Виктора Гюго, который оказал гостеприимство беглецам, хотя и не имел о них точных сведений, – Бельгия, уяснив себе истинное положение дела, открыла свои двери изгнанникам и больше не затворяла их...

Англия с давних пор славится своим широким и безусловным гостеприимством. Если другие страны унаследовали от своего прошлого отжившую жестокость, то Англия вынесла из глубины веков великую добродетель – гостеприимство...

Бельгийская газета *Liberté* («Свобода») напечатала горестный рассказ одного федерата, взятого в плен при Шатильоне и после ряда надругательств отправленного в Брест. Этим она познакомила соотечественников как с истинным характером федератов, так и со зверской жестокостью версальцев; после этого и в Брюсселе, как и в Лондоне, установилось правильное отношение к событиям...

После взятия Парижа жестокости еще более усилились.

Солдатам и жандармам было приказано, если они услышат шум внутри скотских вагонов (в которые набивали арестованных для перевозки на дальние расстояния), немедленно стрелять внутрь вагонов через щели, проделанные в обшивке для вентиляции, – и приказание это исполнялось. Сатори являлась пересылочным пунктом, откуда пленников отправляли на казнь, на понтоны или же в Версаль.

Нелегко высыхала на мостовых кровь! Пропитанная ею земля не впитывала ее больше. Казалось, что все еще струятся пурпурные потоки по направлению к Сене.

Надо было уничтожить трупы. Пруды на Шомонских высотах были переполнены ими; вздувшиеся тела всплывали на поверхность воды.

Те же, кого похоронили наспех под землей, набухали под ней подобно зернам, и земля в этом месте вздымалась и трескалась.

Чтобы свезти их в общие могилы, пришлось разворошить огромнейшие кучи сгнившего человеческого мяса; его сносили, куда только можно было: в казематы, где их сжигали, облив смолой и керосином, в ямы, вырытые кругом кладбищ. На площади Звезды их сжигали возами.

Когда для предстоящей выставки будут взрывать землю на Марсовом поле, где некогда длинными рядами горели костры, в которые бросали облитые смолой трупы, – быть может, их белые, известью посыпанные кости покажутся из-под земли и встанут в боевую колонну, как стояли в майские дни бойцы Коммуны.

И кое-кто, может быть, вспомнит красноватые огни и тот густой дым, который после взятия Парижа можно было видеть издали по вечерам: то были костры, распространявшие вокруг себя зловоние.

Среди этих мертвецов были такие, которых еще долго ждали домашние, пока, наконец, не уставали ждать. Но, несмотря ни на что, все-таки теплилась какая-то надежда.

Женщины, пряча под шальями пакетики с семенами, стали украдкой приходить на кладбище и сеять цветы на могилах.

Там они дали пышные всходы; иные из них, расцветая, напоминали капли крови; тогда за женщинами стали следить; их подстерегали и осыпали грубейшими оскорблениями.

Но, несмотря ни на что, могилы неизменно покрывались цветами.

Одна из этих женщин, госпожа Жантиль, муж которой сражался в 1848 году, а может быть, и в 1830 году, в течение многих лет не закрывала на замок, а только прикрывала свою дверь, чтобы муж мог войти в дом, не возбуждая ничьего внимания.

Ведь он пережил июньские дни и однажды вечером вернулся к ней, – почему бы ему не возвратиться и после майских дней?

Она называла свои цветники «могильными цветами» и выращивала их только для кладбища, но мужа своего она упорно не хотела признать погибшим; ее пес – белая толстая овчарка – поджидал ее у ворот кладбища, а ночью вместе с хозяйкой ждал прихода хозяина.

Жантиль думала, что она знает место, где похоронен Делеклюз. Она указала его сестре покойного, с которой часто ходила вместе.

Ее не арестовали – быть может, потому, что видели, как она ждет своего мужа, и рассчитывали, что, если он придет к ней, его легко будет захватить. Быть может, однако,

она была обязана своей свободой одной влиятельной семье, которая была тронута подобным упорством и нежеланием примириться со смертью и просила за нее, о чем бедняжка не подозревала.

Когда мы вернулись из Каледонии[165], Жантиль была рада и счастлива, чего очень давно с нею не бывало. Она поспешила разделить запасы своей маленькой лавчонки между теми из нас, кто не имел ничего. По-прежнему она вся дрожала, внезапно услышав шаги, напоминавшие ей походку мужа, и собака ее, насторожившись, подымала уши.

Мы уже сказали, что 35 000 человек – официальная цифра жертв версальских репрессий – не соответствует действительности.

Письмо Бенжамена Распайля[166] к Камиллу Пельтану[167] доказывает это с неопровержимостью. Это же подтверждается и многочисленными позднейшими свидетельствами...

Когда пробьет час великого освобождения и землю разроют для великих работ, которые начнет свободное человечество, найдется ли хоть пядь ее без примеси праха бесчисленных и безымянных жертв, положивших свою жизнь во имя светлого будущего всего человечества?

Находясь в Каледонии, мы не знали, сколько времени производились аресты за участие в Коммуне. Последний ссыльный прибыл на полуостров Дюко перед самой амнистией.

Это был старый крестьянин, который никак не мог понять, за что его осудили: ведь он б она пар т и с т!

Несчастный горько плакал... Утешая его по-своему, мы говорили ему, что все к лучшему.

Мы сумели так перевоспитать его и так поднять его дух, что когда он возвратился вместе с нами на родину, он начинал уже, пожалуй, заслуживать свою кару.

Если убивали версальцы в припадках ярости, то арестовывали они... по прихоти фантазии. Горе тому, у кого был какой-нибудь враг, способный послать донос, подписанный или анонимный, правдивый или ложный, все равно: всякий донос без расследования принимался за святую истину.

В руках армии находилась жизнь парижан, в руках полиции – их свобода.

Так было до того момента, когда тюрьмы переполнились свыше всякой меры, и правительство, уже не решавшееся с прежней легкостью уничтожать своих многочисленных заключенных, потребовало, чтобы доносчики подписывались.

Но самая низкая зависть, самая злобная ненависть была уже удовлетворена к этому времени.

Возможно также, что ужас положения достиг к этому времени такой напряженности, что и у победителей защемило сердце, и майская кровь хлынула к самому их горлу.

Большие провинциальные города, вся Франция превратились как бы в одну гигантскую мышеловку.

Некоторые аресты и казни имели свою историю.

В ночь с 25 на 26 мая на бульваре Пикпюс в доме № 52 два старых поляка, поселившиеся в Париже еще со времени эмиграции в 1831 году[168], вели между собой, попивая чаек, беседу о текущих событиях. За старостью лет принимать в них участие они уже не могли. Но если бы они приняли в них участие, то, конечно, на стороне Версаля, ибо один из них, по фамилии Швейцер, имел в версальской армии племянника, которого очень любил; другого поляка звали Развадовский. Зная, что квартал уже занят регулярной армией, где племянник служил лейтенантом, они решили поставить на стол три чашки в надежде, что он забежит к ним.

В соседней квартире помещались двое жильцов, участников Коммуны, которые все время прислушивались к разговору стариков, боясь, как бы те не донесли на них.

Пока старички мирно беседовали, к дому подошли солдаты и стали собирать у швейцара сведения о жильцах: это делалось тогда повсюду. С солдатами был и офицер.

– Нет ли здесь у вас иностранцев? – спросил у швейцара офицер.

– Да, – ответил тот почтительно, – да, господин офицер, в номере пятом живут два старых поляка.

– Поляки! Это друзья Домбровского! Идите вперед и покажите нам квартиру.

Швейцар повиновался.

Офицер постучал. Дядя бросился к нему навстречу, но увидел перед собой вовсе не племянника.

– Ага, вы тут сигнализируете, – сказал офицер, показывая на две свечи, которые те зажгли на радостях. – Вы заодно с бандитами Коммуны! Там ведь все поляки! Марш вниз, живей!

Старики думали, что он шутит.

– Где третий, которого вы прячете здесь? Тут ведь три чашки!

Объяснения стариков были приняты за насмешку, и вот солдаты с грубыми ругательствами столкнули их с лестницы и расстреляли неподалеку от дома.

Так как вокруг них не было того «ореола», по которому узнаются «честные люди», то «храбрые» солдаты сделали «в пылу сражения» – как говорили версальские газеты —

то, чего на следующий день, «остынув», они не решились бы сделать... Слишком поздно племянник узнал об ошибке.

Несмотря на то что в доме устроили засаду, два других жильца, сторонники Коммуны, успели ускользнуть.

Газета «Земля» (Le Globe) сообщала о таком факте (впоследствии это сообщение было перепечатано и другими газетами):

Один из членов Национального собрания, посетивший как-то захваченных версальцами в плен женщин, которых было уже несколько сот, в числе их узнал одну из своих хороших знакомых – даму высшего света; в суматохе ее захватили и, как других, привели пешком в Версаль. Ее освободили.

Но много других, даже тех, которые сами доносили, но не смогли представить достаточных поручителей за себя, расстреляли вместе с теми, на которых они доносили.

Много было ужасных эпизодов. «Маленькая газета» (Le Petit Journal) 31 мая 1871 года сообщала:

Брюнель был расстрелян у своей любовницы, которую расстреляли вместе с ним. После двойной казни на дверь, ведущую в квартиру, наложили печати. Вчера, когда пришли за трупами, чтобы их похоронить, любовница Брюнеля оказалась еще жива. Несчастную не решились прикончить и перевезли в госпиталь.

Оказалось, что несчастная пара была жертвой случайного сходства: настоящий Брюнель в это время был уже в Лондоне.

Билльорэ, умерший в Новой Каледонии, Ферре, которого арестовали несколько дней спустя, Вальян, который успел бежать в Англию, – все они были по нескольку раз расстреляны, – понятно, не сами, а в лице своих двойников. Горе тому, кто походил на кого-либо из членов Коммуны или Центрального комитета! Всякий раз, как версальцы находили человека, «похожего» на Эда, Гамбона, Лефрансэ или Валлеса[169], несчастного немедленно расстреливали, иногда одновременно в нескольких местах.

Один торговец, некий Констан, дважды был присужден к смерти по доносу своих личных врагов: в первый раз его нашли похожим на Вальяна, во второй раз приняли за Констана Мартена. Казнить его, понятно, могли только раз...

Версальское собрание и реакционные газеты превозносили армию за ее кровавые «подвиги»:

«Какая честь! Наша армия искупила свои поражения неоценимой победой!»[170]

В воскресенье 4 июня по всем церквам во время службы собирали в пользу «сирот войны».

Жены Тьера и маршала Мак-Магона председательствовали в этом благотворительном Комитете, унаследовавшем сферу деятельности прежнего «Общества помощи жертвам войны». Какая горькая насмешка! Как ужасен этот переход буржуазии от бессознательной жестокости первых дней к холодной и бессознательной благотворительности!

Но идея Коммуны не погибла! Другие воспримут ее и сделают еще более великой! Предсмертный клич Милльера: «Да здравствует человечество!» – прокатился по всему миру. Умирая, он приветствовал тот переворот, который принесет с собой XX век.

После победы «порядка» террор достиг таких размеров, что родина Курбе, город Орнан, по решению своего муниципального совета счел нужным снести статую луарского рыбака.

Но вот чего не могли убрать – это кровавые вехи, которыми эта эпоха так густо отмечена, что прощупать между ними глубину совершающихся событий было в то время невозможно.

III. Бастионы Сатори и Версаля

Давно уж не видела я своей матери, и так как бойня на Монмартре все еще не прекращалась, то я очень беспокоилась о ней; зная место, где я смогу найти товарищей, я решила сходить к ней, рассказать ей, что делается, причем, конечно, соврать ей так, чтобы она согласилась безвыходно сидеть дома. Поверит ли она мне? И там ли она еще? Тот, кто не пережил этих дней, не может понять всей силы моего беспокойства, моего ужаса.

Мне одолжили серую юбку, – моя была пробита пулями, – дали плащ с капюшоном, и, преобразившись, насколько это было возможно для меня, в обывательницу, я маленькими шажками отправилась на улицу Удо, где в доме № 24 помещалась школа, в которой я преподавала, а при ней наша квартирка.

Монмартр был полон солдат, но я не возбуждала подозрений, как и тогда, когда ходила в Версаль. Старый друг нашей семьи, г-жа Блен, которую я встретила по дороге, пошла со мной; ни о моей матери, ни о моем классе, кроме того, что дети посещали школу до самых последних дней, она ничего не слыхала. Чем ближе мы подходили, тем больше у меня сжималось сердце: в майские дни Монмартр представлял собой настоящее кладбище.

Подозрительного вида прохожие с трехцветными повязками на рукавах одни попадались нам навстречу. Они смотрели исподлобья и перебрасывались словами с солдатами.

Школьный двор был пуст, дверь заперта, но не на ключ. Маленькая желтая собачка Финетт, услышав мои шаги, залаяла. Ее заперли вместе с кошкой на кухне; бедные животные рвались наружу. Но где же моя мать? Я задаю вопрос привратнице, которая сперва как-то мнетя. Наконец, она мне сообщает, что версальцы приходили за мной и, не найдя меня, увели мою мать на расстрел.

Напротив помещается кафе; там – пост так называемой «регулярной армии». Бегу туда и спрашиваю, что они сделали с матерью, которую увели вместо меня.

- Теперь ее уже, должно быть, расстреляли, - спокойно говорит мне один из них, по-видимому, начальник.

- В таком случае, - говорю я им, - можете расстрелять и меня. Но где она? Где арестованные вами?

- На бастионе номер тридцать семь, - отвечают мне. - Вас сейчас туда отведут.

Но я знаю, где этот бастион, и не нуждаюсь в их указаниях. Я бегу вперед, а они следуют за мной.

О, как спешу я к матери, которую уже считаю мертвой; как хочется мне бросить свою жизнь в лицо чудовищам!

В 37-м бастионе, посреди двора, набитого арестованными, я увидела ее и с нею много моих друзей: никогда, никогда в жизни я не была так счастлива!

Солдаты прибежали вслед за мной. Пока я требовала у коменданта освобождения моей матери на том основании, что я сама явилась на ее место, они рассказывали ему, со своей стороны, обо всем произошедшем. По-видимому, он понял нас и разрешил мне проводить мать до половины дороги, так что я могла быть уверена, что она дойдет до дому.

Бедная мать сперва не хотела уходить, но мое отчаяние, уговоры других арестованных, сочувствовавших мне, и, наконец, та свобода, которую мне предоставили, чтобы я могла проводить ее, побудили ее согласиться.

Солдаты, пришедшие со мной, должны были довести ее до улицы Удо; я оставила их, как обещала, на полдороге и в бастион вернулась одна. Я воспользовалась этим кратковременным свиданием с матерью для того, чтобы всячески успокоить ее относительно моей участи. Чего я не выдумывала только! И то, что женщин больше не расстреливают, и то, что меня ожидает лишь несколько месяцев тюрьмы, и т. д. и т. д. Но она не очень-то верила этому: я обманывала ее так часто!

- Итак, вы нам не доверяете? - спросил комендант, когда я вернулась.

- Нет! - ответила я.

Я присоединилась к прочим арестованным: тут были федераты с Монмартра, члены Наблюдательного комитета, Клуба революции и особенно много гвардейцев 61-го батальона. Над Парижем расстилался купол дыма. Ключки обгоревшей бумаги, подобно черным мотылькам, летели к нам по ветру: вдали гремели орудия.

Прямо перед нами на холмике возвышался столб: это было место казни.

Комендант подошел к нам и, указывая на языки пламени, прорезывавшие дым, сказал:

- Вот дело ваших рук!

- Да, - ответила я. - Мы не сдаемся, нет! Париж решил умереть!

Привели какого-то молодого человека высокого роста с курчавой головой, несколько походившего на Межи[171]: за это он и был, по-видимому, арестован.

Мы закричали:

- Это не Межи!

Он покачал головой, словно желая сказать: «Не все ли равно!»

Его расстреляли на холмике; он умер отважно. Никто из нас не знал его имени.

Каждый ждал своей очереди.

Перед нами стояли в два ряда солдаты с заряженными ружьями и тоже ждали.

Наступил вечер, кое-где легла глубокая тень, остальная часть двора была освещена фонарями. Один из фонарей внезапно осветил в углу двора носилки: на них лежало тело расстрелянного молодого человека.

Среди арестованных находились два коммерсанта с Монмартра, которые вышли на улицу просто из любопытства и были забраны вместе с другими.

- Мы за себя ничуть не боимся, - говорили они, - мы скорее противники, чем сторонники Коммуны, и ни в чем не замешаны. Мы объяснимся с офицером и будем отпущены.

Но мы знали, что они подвергаются одинаковой с нами опасности.

Вдруг к бастиону прискакала группа офицеров. Их начальник был довольно полный человек с правильными чертами лица, но с глазами, исполненными такой ярости, что, казалось, они вот-вот выскочат из орбит. Лицо его было багрово, как будто вся пролитая в эти дни кровь выступила на нем, чтобы отметить его печатью Каина. Его великолепный конь стоял неподвижно, как вылитый из бронзы.

Выпрямившись в седле, он вызывающим жестом упер руки в бедра и начал, обращаясь к арестованным:

- Вы знаете, кто я? Я - Галлифе. Вы считаете меня жестоким, господа с Монмартра? Но я более жесток, чем вы думаете.

В том же тоне он продолжал говорить еще несколько минут. Нельзя было ничего разобрать в его речи, кроме бессвязных угроз.

Ожидая, что мы будем немедленно расстреляны, мы принялись приводить в порядок свою внешность, чтобы достойно встретить смерть. Нас было несколько сот, и мы не знали, кого из нас погонят на пригорок, кого расстреляют тут же, не знали, разделят ли нас. Тем не

менее мы стряхнули пыль с головы и платья. Я уже говорила, что все мы, люди 1871 года, умели встречать смерть и как бы кокетничали с нею. Кроме того, фраза «Вы знаете, кто я? Я Галлифе!» была до того забавна, что напомнила нам старую-старую песенку из какой-то буколической оперы: «Вы знаете, кто я? Я – Лендор, пастух вон тех овец!»

Что за странный пастух, что за странное стадо! Первые стихи этой песенки, неведомо откуда пришедшие мне в голову, возбудили среди нас смех.

– Стреляйте в эту банду! – вскричал взбешенный Галлифе.

Солдаты, до отрыжки упившиеся кровью и уже уставшие от бойни, смотрели на него осоловелыми глазами и не двигались.

Наши два коммерсанта в ужасе бросились бежать, расталкивая арестованных и солдат, чтобы выбраться из толпы.

Тогда вся ярость Галлифе обрушилась на них. Он приказал схватить их и расстрелять. Те кричали, отбивались, не желая умирать. Они поручили нам своих детей, как будто мы имели шансы выжить, но при этом до такой степени потеряли голову, что даже не указали своего адреса.

Напрасно мы кричали:

– Да ведь они – ваши! Мы их не знаем! Это противники Коммуны!

Одного из них расстреляли немедленно, но не у столба, а на бегу, как убивают на бегу дичь. Другого привязали к столбу, и он силится отвязаться, не желая умирать. Один из них что-то крикнул; по словам моих товарищей, то было «Ах!», мне же показалось, что он крикнул «Анна» – имя своей дочери.

По возвращении моем из Каледонии, когда я напечатала первый том моих воспоминаний, ко мне пришла его дочь, до сих пор не подозревавшая, что случилось с ее отцом и дядей.

Вот уже три трупа лежали в яме слева от нас. Сзади нас виселась стена, а напротив – насыпь казематов и на ней освещенный фонарями столб: длинная тонкая жердь.

В продолжение дня эти два любопытных коммерсанта, считавшие, что они без труда выйдут отсюда, как-то ухитрились узнать кое-что относительно двора.

– Вон та насыпь, – говорили они, – это казематы. Когда нас выпустят, мы попросим позволения посмотреть бастион.

– А что, видели вы когда-нибудь форты? – обращались они к нам.

– Конечно: Исси, Мон-Руж, Ванв.

Надо было объяснять им кучу вещей.

Галлифе исчез. Нас выстроили в ряд; с двух сторон встали всадники. Нас повели, куда – мы не знали. Мы шли под убаюкивающий мерный топот лошадей, шли в темную ночь, мрак которой время от времени прорывался красноватым странным светом; вдали слышались глухой грохот, треск картечи; все это казалось таинственным, окутанным туманом и сном. Ни одна подробность от нас, однако, не ускользала.

Вдруг начался спуск в овраг. Мы узнали окрестности Ля-Мюетт.

«Ага, – подумали мы, – вот где казнят нас!»

Какая прекрасная и вместе с тем страшная картина!

Ночь не то чтобы была темна, но и не достаточно светла, чтобы вещи принимали подлинные размеры и формы. Эта полутьма, эти смутные очертания так гармонировали с нашим настроением. Меж лошадиных ног на узкую дорожку, которой мы спускались, скользили лунные блики. При свете факелов тени всадников выделялись на земле как черная бахрома; красные повязки на рваных мундирах федератов казались кровью, которая покрывала солдат своими алыми отблесками.

Длинная колонна пленников змеилась далеко и к хвосту становилась все тоньше, именно так, как рисуют на гравюрах. Я никогда не думала, что искусство так правдоподобно.

Мы слышали, как заряжали ружья, потом все стихло; тьма и безмолвие царили повсюду.

– О чем вы думаете? – спросил меня один из конвоиров.

– Я просто смотрю, – ответила я.

Вдруг мы опять стали подниматься, затем последовала довольно продолжительная остановка, и мы вновь тронулись в путь; теперь мы подходили к Версалью.

И действительно, мы вступили в этот город; целая туча хлыщей тотчас же окружила нас; они выли, как стая волков, некоторые даже стреляли в нас; товарищу, шедшему около меня, раздробили челюсть.

Надо отдать справедливость нашим конвоирам: они решительно отогнали теснившихся вокруг нас зевак и пшютов.

Мы уже прошли Версаль, но все-таки идем дальше. Наконец, показалась вышка, зубчатая стена – это Сатори.

Лил такой сильный дождь, что мы шли прямо по колена в воде.

Небольшой холм. Нам кричат:

– Вверх, на приступ!

И мы взбираемся беглым шагом, а отдаленная пушечная пальба довершает иллюзию штурма.

На нас наводят митральезы, а мы все двигаемся вперед.

С нами была бедная старушка, у которой расстреляли мужа. Надо было ее тащить, чтобы она не осталась в хвосте, где ее могли зарубить или расстрелять, ибо солдатам было приказано стрелять в отсталающих. Она так боялась, что порывалась кричать, но меня осенила мысль сказать ей:

- Не глупите, митральезы всегда наводят, когда кто-нибудь входит в форт.

Старушка поверила. Мы могли быть спокойны: других криков, кроме криков «Да здравствует Коммуна!», версальцы не услышат от нас.

После этого они убрали митральезы.

Товарищи мои по плену были присоединены к ранее захваченным федератам, которые лежали под дождем среди грязного двора. Старушка была отправлена в лазарет (казалось очень странным, что в этом месте, предназначенном для бойни, могло быть что-нибудь, напоминающее больницу). А меня со словами: «Эту не стоит обыскивать, ее завтра утром расстреляют» - отвели в комнатку около сеновала, где было уже несколько арестованных ранее женщин: Милльер - задержанная по той причине, что муж ее был расстрелян; Дерер и Баруа - потому что их мужья считались расстрелянными; Мальвина Пулен, Мариани, Беатриса, Экскофон и ее мать - арестованные за то, что они служили Коммуне, и какая-то старая монахиня за то, что давала пить умирающим федератам.

Были еще две или три женщины, не знавшие даже, за что они арестованы; одна из них не знала даже, кто ее арестовал: коммунары или версальцы.

В противоположном углу комнаты находилась группа женщин, посаженных вместе с нами под тем предлогом, что они тоже наши... Я нарочно стала громко уверять, что это жены версальских офицеров.

Эти несчастные пользовались для утоления жажды двумя бидонами желтоватой воды, взятой из лужи посреди двора...

В этой самой луже победители обмывали свои кровавые руки, и в ней же отправляли они свои естественные нужды.

Розовая пена образовалась по краям этой лужи.

Над этой лужей я думала о людях, которые называли нас когда-то своими друзьями и которых опьянение властью сделало душителями революции...

Ночью Экскофон и ее мать вытащили из карманов сухие чулки, чтобы я переменяла свои, совсем мокрые; они заставили меня также снять юбку, с которой капала вода, и дали мне

взамен другую.

Я упрекала себя, что пользуюсь такими удобствами, в то время как товарищи мои мокнут под дождем.

Мы лежали прямо на полу и рвали на мельчайшие кусочки бумажки, которые оставались в карманах Экскофон и моих; я успела сообщить Дерер и Баруа, что их мужья, которых они считали мертвыми, живы. Бедная Милльер: ей нечего было сказать! Утром каждой из нас дали по куску «осадного» хлеба и сообщили мне, что я буду казнена только завтра.

– Как вам угодно, – ответила я.

Но дни проходили за днями. Коммуна уже давно погибла. В воскресенье, 28-го, мы услышали последний пушечный залп – ее агонии. К нам привели под конвоем новую партию женщин и детей, но их отправили обратно в Версаль, так как Сатори оказался переполненным. Впрочем, несколько женщин, наиболее виновных, оставили с нами. Это были маркитантки Коммуны.

Нельзя представить себе ничего более ужасного, чем ночь в Сатори. В окошечко (в него было запрещено выглядывать под страхом смерти, что нам отнюдь не мешало это делать) можно было видеть такие вещи, которых никогда не забыть.

Под проливным дождем время от времени, при тусклом свете фонаря вырисовывались распростертые в грязи тела.

Они казались то грядками, то, когда на этом ужасном, покрытом водою пространстве происходило какое-нибудь движение, – застывшими волнами. Слышался сухой треск ружей, сверкал огонек, и пули впивались в кучи тел, убивая наугад.

Иногда выкликали поименно. Мужчины поднимались и шли за фонарем, который несли впереди, причем осужденные должны были сами нести на плечах заступ и кирку, чтобы вырыть себе могилу. За ними следовал карательный взвод.

Похоронный кортеж проходил, затем раздавался залп, и все было кончено – на сегодняшнюю ночь.

Однажды утром вызвали меня; мы обменялись рукопожатиями, не надеясь увидеться больше, но меня отвели недалеко, в комнату близ входной площадки. Там сидел за столиком человек, который начал меня допрашивать.

– Где вы были четырнадцатого августа? – спросил он меня.

Я заставила назло рассказать мне, что такое было 14 августа... После этого я сказала ему:

– Ах, вы говорите про ля-виллетское дело! Я была тогда около казармы пожарных.

До этого момента он писал и был довольно вежлив. Я, со своей стороны, отвечала ему с большой кротостью, забавляясь как школьница своими проказами.

- А на похоронах Виктора Нуара вы присутствовали? - спросил он меня.

Щеки его начинали покрываться краской.

- Да, - отвечала я.

- А тридцать первого октября, а двадцать второго января?

- Перед зданием ратуши.

- Что вы делали во время Коммуны?

- Служила в маршевых ротах.

Он все больше и больше краснел от гнева, а при последних моих словах в сердцах сломал перо на бумаге и сказал:

- Эту женщину в Версаль!

Допросу подвергли всех, и так как одни из нас служили Коммуне, другие же были женами расстрелянных, то всех нас отправили в Версаль.

В наших рядах опять оказались две или три подозрительные женщины из числа тех, которых мы встретили в Сатори; они и здесь держались вместе, но были менее навязчивы.

Вот почему и в тюрьме де Шантье мы опять встретили некоторое число этих презренных особ.

По дороге из Сатори в Версаль какая-то женщина, разъяренная до такой степени, что рот ее не закрывался от беспрестанных ругательств, которыми она осыпала нас, хотела вцепиться нам в горло: ей сказали, что мы убили ее сестру. Вдруг она испустила радостный крик; так же точно вскрикнула одна из наших спутниц, арестованная совершенно случайно: это была ее сестра, которую та уже несколько дней тщетно искала.

- Простите, простите меня! - кричала она, удаляясь под грубые крики солдат.

Мы прибыли к тюрьме де Шантье и прошли через ворота с решетчатым верхом на широкий двор, а оттуда - в залу, где находилось множество арестованных детей. Далее по лестнице через какую-то четырехугольную дыру мы поднялись в залу верхнего этажа: это и была наша женская тюрьма.

Другая деревянная лестница, напротив первой, вела в помещение судебного следователя, которым в то время был капитан Брио.

В тюрьме де Шантье, как и в других местах заключения, среди нас намеренно помещали шпионок.

Эту тюрьму нельзя было назвать «удобной» тюрьмой, особенно в первое время.

Если кто-нибудь хотел днем присесть, приходилось садиться прямо на пол: скамейки поставили очень не скоро. Скамьи же со двора принесли, по-видимому, нарочно для того, чтобы Аппер[172] мог снять нас группой. Впоследствии эти фотографии продавались за границу и появились в качестве иллюстрации к некоему «историческому» сочинению с такой «милой» надписью: «поджигательницы и певички», причем, как и у Аппера, под каждым изображением стояло имя.

Через две-три недели нам дали по охапке соломы на двоих. До тех пор, как и в Сатори, мы лежали на голом полу. К «осадному» хлебу – нашей единственной пище до сего времени – прибавили по одной коробке консервов на четверых.

– Что случилось? Уж не начинают ли трусить в Версале? – спрашивали мы, пораженные такой внезапной щедростью.

Но новые пленницы, ежедневно прибывавшие к нам, сообщали, что террор стал ужаснее, чем когда-либо. Но так как смертность в тюрьмах все увеличивалась, то версальцам уже надоело возиться с трупами.

Ночью над этой мертвецкой, которую так напоминали груды наших тел, платки и другие тряпочки, развешанные нами на бечевках, протянутых над головами, колебались от ветра, проникавшего в залу со всех четырех сторон; чадный свет ламп, падавший с двух противоположных концов комнаты, делал эти лохмотья похожими на крылья птицы; около ламп стояли часовые.

Эти отрепья, которые мы снимали перед сном, боясь вконец истрепать их, были единственной нашей одеждой. Если бы даже у кого-либо и была другая, ее невозможно было здесь надеть: немислимо же было переодеваться на глазах у расхаживавших взад и вперед солдат. Последние часто подзывали к себе наших шпионок, которые, несмотря на все наши протесты, все же оставались с нами.

Спать было почти невозможно из-за насекомых, кишевших всюду. Но если ночью наш барак напоминал мертвецкую, то к утру он принимал вид сжатого поля. Пустые и раздавленные колосья наших жидких соломенных подстилок сияли тогда, как звезды.

И все-таки мы разговаривали, смеялись. От вновь прибывающих мы узнавали кое-что о своих.

Тем редким счастливым, которых выпускали за отсутствием улик, мы давали кое-какие поручения. Так, например, мне удалось известить мою мать, что я чувствую себя превосходно и совершенно здорова, но она, не доверяя мне, сама наводила обо всем справки.

На полу извивались маленькие серебристые струйки, образуя сначала ручейки, а затем разливаясь целыми озерами величиной с добрый муравейник, где, переливаясь, как жемчуг, кишело что-то живое.

Это были вши, огромные, с приподнятой и слегка выгнутой спинкой, несколько похожие на морских свинок, но величиной с мушку. Их было столько, что можно было слышать их кишение.

Случайные аресты продолжались.

Так, несколько недель провела с нами некая глухонемая, арестованная за то, что она кричала: «Да здравствует Коммуна!»

Затем 80-летняя старуха с парализованными ногами, задержанная за то, что строила баррикаду.

Или другая, тоже старуха, тип каменного века, смесь хитрости и наивности; она целых три дня вертелась около выхода, ведущего на лестницу, с корзиной в одной руке и с зонтиком в другой.

В этой корзинке лежало несколько экземпляров песенки, сочиненной ее хозяином, «человеком ученым», как она говорила.

Она продавала ради хлеба эту песенку, якобы написанную во славу Коммуны. На самом же деле она была сложена во славу Версаля. Все-таки женщину арестовали, и старику пришлось ее подождать.

Когда мы заявили об этом, нам не поверили и сказали, что мы сочиняем; тогда я принесла следователю экземпляр песенки, начинавшейся так:

Прекрасные версальцы, пожалуйста в Париж!

Отрицать факт было нельзя: так было напечатано, и старички потратили, видимо, последние гроши в надежде удвоить их продажей своего произведения.

Следователю пришлось сдаться перед очевидностью, и старушка начала уже спускаться с лестницы, держа в руках корзину и зонтик, как вдруг остановилась и сказала, очевидно, желая сделать нам удовольствие:

– Если бы победила Коммуна, мы написали бы тогда:

Лихие парижане, входите же в Версаль!

Надо думать, что она помогала своему хо з яин у сочинять песенки.

Было у нас в тюрьме и другое развлечение. По воскресеньям к нам приходили с офицерами всякие франтихи. Любо было смотреть, когда какая-нибудь из таких буржуазных сорок

окунала хвост своего платья в те «муравейники», о которых я упоминала.

Одна из этих щеголих, с правильным греческим профилем, но большая кривляка, спросила меня чрезвычайно вежливым тоном, «умею ли я хор ош о чи т а т ь».

– Немного, – ответила я.

– Тогда я вам оставлю эту книжку, чтобы вы могли побеседовать с Богом.

– Лучше оставьте мне газету, что выглядывает у вас из кармана, – сказала я ей. – По-моему, Господь Бог стал уже слишком отдавать Версалем.

Она повернулась ко мне спиной, но я увидела у нее за спиной газету, которую она держала в руке и протягивала мне.

По правде сказать, она не была так глупа и совсем не так неловка, как я полагала.

Газета! «Фигаро»! Сейчас мы узнаем, в чем, собственно, нас обвиняют; узнаем также, нет ли новых арестов среди наших друзей!

Газету передают из рук в руки, потому что сейчас ее читать нельзя; сейчас время визитов; но все-таки мы знаем, что у нас есть газета.

Пока что, подобрав где-то кусочек угля, я на стене рисую карикатуры на посетителей, которые выходят настолько похожими, что приходят в ярость.

Мои преступления все умножались. Еще раньше я написала на той же стене, что мы требуем избавить нас от версальских шпионок, посаженных к нам для того, чтобы опорочить Коммуну.

В-третьих, я бросила жандарму в голову бутылку с кофе, которую передала мне моя мать и которую он хотел у меня отнять. Я не хотела отдавать ее до тех пор, пока бедная старушка не отойдет от тюрьмы.

Вызванная для объяснений к капитану Брио, я переполнила чашу своих проступков тем, что сказала:

– Мне очень жаль, что я запустила бутылкой в этого беднягу, но ведь там не было ни одного офицера.

Так как «бедокурила» не я одна, то завели список самых отчаянных зачинщиц, как называли нас тюремщики.

Со времени заключения в тюрьму меня неоднократно спрашивали, есть ли у меня родственники в Париже. Опасаясь, что они будут арестованы, я неизменно отвечала: нет.

Однажды, задав мне этот вопрос и получив обычный ответ, капитан Брио спросил меня:

– А у вас нет дяди?

– Нет, – опять сказала я.

Но он вытащил из конверта письмо, и, стоя у конторки, я могла сбоку заглянуть в него: мой дядя был арестован, но не желал, чтобы я из-за этого изменяла свой образ действий:

пусть он остается таким же, как раньше; я должна поступать так, как если бы его совсем не существовало.

Мои двоюродные братья Даше и Лоран тоже были арестованы; у первого из них была большая семья: четверо детей.

– Вы видите теперь, – сказала я Брио, – что у меня были основания отрезать от своих родственников: ведь всех наших арестовывают.

Однажды Экскофон-мать собрала вокруг себя человек десять; мы сели на землю, и с тысячей предосторожностей, чтобы не возбудить ничьего внимания, она показала нам карты (разумеется, вещь запрещенная), разложенные перед ней в известном порядке.

Карты эти подарила ей одна из вновь прибывших, которую плохо обыскали.

– Я ничуть не верю в это, – сказала она, – но все-таки это забавная вещь.

– Как страшно отомстит Коммуна армии и магистратуре! Это будет настоящая народная победа! – И, вычитывая из головы, конечно, гораздо больше того, что «говорили» карты, она повторяла:

– В далеком, далеком будущем! Но как это будет ужасно!

В этот момент стали выкликать самых отчаянных для отправки в исправительную тюрьму Версаля:

– Мишель, Луиза!

– Горже, Викторина!

– Папавуан, Эвлалия!

Всего нас оказалось сорок. Лейтенант Марсерон, чтобы ознаменовать свое вступление в должность начальника тюрьмы де Шантье, начал с этой карательной меры.

Дождь лил как из ведра; мы выстроились во дворе и ждали. Наконец, явился Марсерон и стал извиняться, при чем обращался ко мне, как к наиболее отчаянной. Я сказала ему, что мы даже предпочитаем, чтобы Версаль поблажек нам не давал, а поступал так, как сейчас...

В исправительной тюрьме режим для сорока отчаянных оказался, как это ни странно, необычайно мягким: нам разрешили пользоваться ванной и бельем, а также позволили видеться с родственниками.

Марсерон ничего не достиг своей карательной мерой, разве что в тюрьме переменились лица; арестованные, прибывшие на наше место, вели себя так же беспокойно, как и мы, и бунтовали даже больше нашего, так как он принялся сечь детей веревкой, чего его предшественники не делали.

Двенадцатилетний сын Ранвье был избит, так как не хотел выдать местопребывание отца.

– Я не знаю, где отец, – говорил он, – но если бы я и знал, я вам все равно не сказал бы.

Бедные женщины, сошедшие с ума, не остались без помощи, хотя нас и удалили. Новые арестантки ухаживали за ними, как и мы, не страшась их ужасных криков. Несчастные повсюду видели перед собой те ужасы, от которых потеряли рассудок; их надо было кормить, как маленьких детей.

В один прекрасный день их увезли. Куда? Говорили, что в дома для умалишенных.

Ужасы тюрьмы де Шантье при лейтенанте Марсероне описаны были арестантками Ардуен и Кадоль.

В этом аду родилась маленькая Леблан, которая спустя несколько месяцев на руках своей матери совершила путешествие в Каледонию на казенном судне – фрегате «Виргиния».

К концу года тюрьму де Шантье предназначили для мужчин. Все места заключения были переполнены до отказа; и женщины, остававшиеся к тому времени в этой тюрьме, были переведены в исправительную версальскую тюрьму.

IV. Версальские тюрьмы. – Казни в Сатори. – Судебные процессы

В исправительной тюрьме Версаля можно было при известной сноровке разузнавать кое-что о заключенных в других тюрьмах: они были еще живы, по крайней мере те, о которых к нам долетали вести.

Мы знали, что в предварительном заключении с некоторых пор находятся Ферре, Груссе, Россель, Курбе, Гастон Дакоста, причем заперты они в одном коридоре с Рошфором, попавшим туда раньше них.

Мы знали, кому удалось избежать гибели во время резни; знали, о ком нет никаких известий. Каждый день приносил новые аресты; когда полиция и сыщики не удовлетворяли правительство (а это случалось часто, так как везде и во все времена полицейские и

сыщики имели монополию на глупость), последнее прибегало к другим средствам.

Одисс Баро рассказывает о том, как был арестован Т. Ферре:

Отец, как всегда, ушел на работу, и дома оставались только две женщины: старушка-мать и молоденькая сестра разыскиваемого.

Эта последняя, Мария Ферре, лежала в постели в жестокой горячке.

Сыщики набросились на старуху Ферре и засыпали ее вопросами, требуя, чтобы она указала место, где скрывается ее сын.

Она утверждает, что ничего не знает об этом, но что, если бы и знала, нельзя требовать от матери, чтоб она выдала собственного сына.

Настояния версальцев удвоились, поочередно подступали они к ней то с лаской, то с угрозой.

– Арестуйте меня, если хотите, но не могу я же сказать то, чего не знаю! Не будете же вы так жестоки, чтобы отрывать меня от постели моей больной дочери.

Бедная женщина при одной только мысли об этом задрожала всем телом. Один из агентов вдруг улыбнулся: дьявольская идея возникла в его уме.

– Так как вы не желаете сказать нам, где ваш сын, мы уведем вместо него вашу дочь.

Из груди Ферре вырвался крик отчаяния, вопль агонии.

Тщетны все ее мольбы и слезы. Больную заставляют подняться и одеться, несмотря на то что это грозит ее жизни.

– Мужайся, мама, – говорит Мария, – не беспокойся, у меня хватит сил, это ничего: меня должны будут отпустить.

Ее собираются увести.

Поставленная перед такой чудовищной альтернативой: или обречь на смерть сына, или же дать убить дочь, позволив ее увести, – несчастная мать, обезумев от горя, несмотря на умоляющие знаки стойкой девушки, теряет голову и начинает что-то бормотать.

– Молчи, мама, молчи, – шепчет больная.

Ее уводят.

Но бедная голова матери не могла этого выдержать.

Старуха Ферре как бы сразу осела, у нее начинается горячка, разум ее мутится, бессвязные фразы срываются с ее уст. Палачи наостряют уши, они ловят малейшее слово, которое

могло бы послужить им путеводной нитью.

Бедная мать повторила в бреду несколько раз слова: улица Сен-Совер.

Увы! Этого достаточно. Двое агентов остаются караулить дом Ферре, а другие во всю прыть бегут заканчивать свое дело. Улицу Сен-Совер окружают, обыскивают каждый дом: Теофиль Ферре арестован; несколько месяцев спустя он будет расстрелян.

Через неделю после страшной драмы на улице Фазимо храброй девочке вернули свободу. Но ей не могли вернуть ее матери, которая сошла с ума и вскоре умерла в больнице для умалишенных при приюте Св. Анны[173].

Отец Ферре был арестован и вплоть до расстрела сына сидел в тюрьме.

Марии приходилось работать одной на всех своих близких.

Так как целый ряд членов Коммуны и Центрального комитета были арестованы, суд над ними, по общему мнению, должен был состояться скоро; но этого не случилось. Правительство хотело сначала приготовить население к будущим приговорам и решило поэтому судить в первую очередь женщин, но не тех, которые выступили бы на процессе с громкими речами в защиту своего дела, а тех, единственным преступлением которых было то, что они ревностно исполнили обязанности сестер и сиделок, подбирая раненых и ухаживая с одинаковой преданностью как за парижанами, так и за версальцами; для этих женщин те и другие были ранеными, а они – сестрами этих страждущих.

Их было четверо: Елизавета Ретиф, Жозефина Марше, Евгения Сюетан и Евлалия Папавуан...

Эти четыре женщины никогда не видали друг друга до самой ночи их ареста.

А было это так. Федераты отступили в другой квартал, и вот они встретились во время отступления в одном доме, где и провели вместе ночь; быть может, – не знаю наверняка – были с ними и несколько раненых.

Наконец, сон стал одолевать их. По двое ложились они на брошенный на пол матрас и спали по очереди.

И вот в эту-то ночь – как гласит обвинительный акт – они сообща поджигали дома (что, впрочем, не мешало им, согласно тому же акту, в то же самое время спать в п ь я н о м виде). Быть может, они были пьяны и на самом деле – не от вина, конечно, а от усталости и голода.

Защитниками их были назначены случайные солдаты, из которых трое отправились во время суда в отпуск, – что им и было разрешено, – а тот унтер-офицер, который должен был защищать Сюетан, ограничился на суде следующими словами:

– Я предоставляю дело мудрости суда.

Эти преданные женщины говорили, конечно, чистую правду в своем последнем слове. Но в лицо судьям они не сумели бросить ничего, кроме честности. Они подтвердили, что действительно ухаживали за ранеными вне зависимости от того, были ли они солдатами Коммуны или Версаля.

За это их приговорили к смерти... Это очень удивило солдат, за которыми они ухаживали, как, впрочем, удивило их и то, что коммунары не добивали раненых, а отправляли их в лазареты.

До процесса членов Коммуны правительство остерегалось предавать суду тех, кто мог бы разбить нелепые обвинения и опрокинуть гнусные легенды, которые усердно собирали писатели с Максимом Дюканом во главе.

Федератам долго пришлось ждать суда в тюрьмах, на понтонах, в фортах. Рассчитывали, что время смягчит их дерзкий задор.

Крысы, черви и смерть – таков был удел тех несчастных, которые были арестованы в толпе и не подверглись расстрелу на месте.

Официальная статистика признала, что из числа задержанных умерли 1179 человек и заболели 2000. Но сосчитали ли эти господа казни, совершенные в первые дни в Сатори, число тех неизвестных, которых расстреляли лишь за то, что они не могли поспеть, как другие пленники, за всадниками?

Сочли ли они тех, которые сошли с ума, не перенеся ужасов этих дней?

Когда я по приказанию следователя на несколько часов была вновь переведена в тюрьму де Шантье, я узнала, что сошедших там с ума женщин перевели будто бы в дом умалишенных.

Но никто не мог этого проверить: ведь имен их мы не знали, и сами они по большей части тоже позабыли свои имена.

Наконец, было опубликовано постановление парижского военного губернатора о предании суду членов Коммуны и Центрального комитета, попавших в руки правительства.

О, эти уж ответят!

Обвиняемые были распределены по степени важности преступления в таком порядке:

Ферре, Асси, Урбен[174], Билльорэ, Журд, Тренке[175], Шампи, Режер, Лисбонн, Люлье, Растуль[176], Груссэ, Вердюр[177], Ферра[178], Декан[179], Клеман[180], Курбе, Паран[181].

Состав третьего военного суда, перед которым должны были предстать обвиняемые, был следующий:

Мерлен – полковник, председатель.

Голе – командир батальона, судья.

Де Гибер – капитан, судья.

Мариге – судья.

Кассен – лейтенант, судья.

Леже – подпоручик, судья.

Лаба – унтер-офицер.

Гаво – командир батальона 68-го полка.

Сенар – капитан, заместитель прокурора.

Процесс начался 17 августа и занял 17 заседаний.

Триста мест было отведено в зале суда для членов Национального собрания.

Две тысячи мест было предоставлено для избранной публики: палачи – офицеры регулярной армии – явились в полной парадной форме, в белоснежных перчатках, под руку с разодетыми женщинами: низко кланяясь и сгибая стан, они подводили своих дам к назначенному им месту.

Члены Коммуны судились не как политические преступники; однако правительство, само того не замечая, признало их таковыми самим фактом осуждения некоторых из них на простую ссылку: кара, которая назначается исключительно за политические преступления.

Рапорты полицейских, которыми руководил сам Тьер, были собраны в дело – и чудовищное, и фантастическое, и как нельзя лучше соответствующее характеру человека, в распоряжение которого оно поступало.

Этим человеком был батальонный командир Гаво, выпущенный незадолго до того из сумасшедшего дома. Он завершил этот труд, скрепив его печатью своего безумия.

Реакционная пресса подняла такой дикий рев вокруг обвинений против коммунаров, что за границей все свободомыслящие люди были возмущены.

Лондонская газета «Штандарт» занимавшая до того враждебную Коммуне позицию, прямо заявила, что невозможно представить себе ничего более возмутительного, чем тон французской прессы «полусвета» во время этого процесса.

Так как Ферре отказался от защитника, то председатель назначил ему официального защитника в лице Маршана, который выказал настолько порядочности, что сам не выступил, но добился для Ферре права прочесть собственные заключения по делу. Однако прерываемый злобными репликами судей и яростными криками избранной публики,

обвиняемый не смог дочитать свою речь до конца.

Вот начало и конец речи Ферре:

После заключения мирного договора, явившегося следствием позорной капитуляции Парижа, Республика была в опасности. Люди, унаследовавшие власть от империи, погибшей в крови и в грязи, цеплялись за эту власть и, всеми презираемые, занимались втайне подготовкой государственного переворота и упорно отказывали Парижу в праве выбора собственного муниципального совета.

Честные и правдивые газеты были закрыты, лучшие патриоты были приговорены к смертной казни. Роялисты собирались уже поделить остатки Франции... Наконец, в ночь на 18 марта они сочли себя в полной готовности и сделали попытку разоружения национальной гвардии и массовых арестов республиканцев.

Попытка их потерпела крушение ввиду сопротивления, оказанного ей всем Парижем, а также за отсутствием поддержки со стороны солдат. Они бежали и нашли себе убежище в Версале.

В Париже, предоставленном самому себе, честные и смелые граждане попытались водворить порядок и безопасность.

Через несколько дней население было приглашено к избирательным урнам, и таким образом была провозглашена Коммуна.

Долгом версальского правительства было признать законную силу этого голосования и вступить в соглашение с Коммуной для восстановления мира; оно поступило как раз наоборот, и как будто война с внешним врагом недостаточно разорила Францию, оно начало гражданскую войну; дыша ненавистью и мезтью, оно набросилось на Париж и заставило город вынести новую осаду.

Два месяца сопротивлялся Париж и был побежден, наконец. Десять дней с разрешения правительства в городе происходили массовые убийства граждан и расстрелы без суда.

Эти черные дни переносят нас в эпоху Варфоломеевской ночи[182]. Виновники их сумели превзойти ужасы июньских и декабрьских дней... До каких же пор будут расстреливать народ картечью?

Член Парижской коммуны, я нахожусь в руках ее победителей. Они хотят моей головы – пусть берут ее. Никогда я не захочу спасти свою жизнь подлостью. Свободным я жил, свободным и умру.

Прибавлю только одно: судьба капризна, и я завещаю будущему заботу о моей памяти и мести за меня.

Это заявление на каждом слове прерывалось оскорбительными возгласами; однако даже те, которые взывали к «законности», были вынуждены признать изложенные в нем факты. В Лондоне слова Ферре произвели глубокое впечатление.

Председатель суда Мерлен позволил себе следующую оскорбительную реплику по адресу Ферре:

– Память об убийце.

Гаво, волнуясь, добавил:

– Надо отправить на каторгу за такое заявление.

– Все это, – продолжает Мерлен, – не объясняет еще, за что вы посажены на скамью подсудимых.

– Это значит, – ответил Ферре, – что я покоряюсь своей судьбе.

Он спас честь Коммуны, но сам погиб.

Когда адвокат потребовал занесения в протокол слов Мерлена «память об убийце», публика подняла вой, а Мерлен с наглостью заявил:

– Я действительно употребил выражение, упомянутое здесь защитником; суд примет к сведению ваше заявление.

Но Ферре не желал, чтобы спорили из-за его жизни.

Не обладай обвиняемый Журд такой удивительной памятью, он, несомненно, был бы признан – как раз именно в силу своей исключительной честности – воровом, разграбившим банк.

У него отняли все его счета, но он по памяти восстановил их с такой точностью, что последняя должна была бы пристыдить судей.

Но есть люди, для которых стыда не существует.

Что значит та тысяча франков, которую каждый из членов Коммуны получил на текущие нужды, по сравнению с теми миллионами, которые нынче тратятся членами правительства на увеселительные прогулки и, пожалуй, на кое-что похуже!

Шампи и Тренке держали себя с достоинством, доказав, что до конца выполняли свой долг.

Урбен с честью вышел из ловушки, устроенной для него правительством через некоего де Монто, которого версальцы в свое время приставили к нему.

Вся грязная изнанка правительственных интриг была разоблачена европейской прессой, а люди Коммуны предстали в свете своей революционной честности. Но как дорого заплатили они за свою честность, за свои предрассудки, помешавшие им передать в руки народа или же просто уничтожить храм золотого тельца – банк!

Приговоры были следующие:

К смертной казни – Ферре и Люлье.

К пожизненной каторге – Урбен и Тренке.

К заключению в крепости – Асси, Билльорэ, Шампи, Режер, Ферра, Вердюр и Груссэ.

К ссылке – Журд и Рагуль.

К шести месяцам тюрьмы и к 600 франкам штрафа – Курбе.

Оправданы – Декан, Паран и Клеман, так как они с первых же дней сложили с себя полномочия членов Коммуны[183].

Комиссия из 15 палачей, названная, несомненно иронически, «комиссией помилования», была составлена из следующих лиц: Мартель, Пиу, Бастар, Ваузен, Батби, Малье, Лаказ, Дюшатель, маркиз де Кенсона, Мервейе-Дювиньо, Тальяр, Корн, Пари, Биго, Пельтро-Вильнев и, кроме того, Тьер в качестве председателя[184].

Комиссия помилования посылала осужденных на казнь, заботливо соблюдая все формальности, напоминая испанский обычай помещать осужденного на последнюю ночь в часовню.

В ожидании своей очереди мы, как и все заключенные, установили сношения между двумя тюрьмами, приняв все меры предосторожности, чтобы в случае обнаружения этого не скомпрометировать никого.

Действительно, наши сношения были раскрыты, и самым ужасным в них показалось то, что мы в своих письмах смеялись над нашими победителями как над круглыми дураками; так, мы рассказывали друг другу, что их идиоты полицейские усердно разыскивали повсюду одно давно умершее лицо по фотографии, которую они нашли во время обыска. Должно быть, случилось с ними это частенько.

Но переписка обнаружила и другие преступления: так, я посвятила несколько стихов нашим повелителям и господам, само собой разумеется, не в восхваление их прекрасных качеств. Впоследствии некоторые строфы были напечатаны в моем сборнике стихотворений...

Мало-помалу мы узнавали от новых арестованных подробности относительно неведомых еще нам жестокостей палачей, например о казни Тони Муалена[185], который был виновен единственно в том, что выступал когда-то на общественных собраниях; для избавления своей жены в будущем от неприятного положения, он просил позволения узаконить свой

брак до казни. Просьба его была уважена, и супруги провели ночь близ того места, где он должен был подвергнуться и подвергся расстрелу, так что ни одна подробность казни не ускользнула от несчастной жены.

Узнали мы и о гибели некоторых сторонников Версаля, которых вместе с другими прикончили на бойне в Шатле.

Расстреляли и таких людей, которые оставались дома, за то только, что жены их, по слухам, сочувствовали Коммуне...

Одна из тех женщин, которые особенно старались достигнуть соглашения между Версалем и Парижем, гражданка Маньер, также была арестована. Она прибыла к нам в исправительный дом перед самым моим переводом в аррасскую тюрьму.

Однажды утром меня вызвали в канцелярию. Я уже давно требовала предания меня суду, так как надеялась, что казнь женщины может погубить Версаль. Я вообразила, что меня вызвали ради каких-либо формальностей по этому делу; на самом же деле речь шла о моем переводе в аррасскую тюрьму. Итак, в ожидании суда, отложенного на неопределенное время, я должна была отбывать наказание.

Я долго думала, что это проделка Массэ, но потом узнала, что обязана этим старику Клеману[186].

Перед отъездом я написала в книге жалоб протест и потребовала, чтобы предупредили мою мать, которая должна была приехать ко мне на следующий день на свидание. Дело было в ноябре. В этот год зима установилась очень рано; уже несколько дней, как шел снег. Но ее забыли предупредить, и в течение нескольких лет бедная старушка помнила ту стужу, которая прохватила ее по пути из Парижа в Версаль, куда она прибыла и не застала никого.

Затем последовал суд над Росселем, которому был вынесен смертный приговор за переход из регулярной армии в армию федератов.

Унтер-офицер Буржуа был приговорен к смертной казни за то же.

Процесс Рошфора все еще откладывался; подсудимого отравили пока что в форт Байяр.

Четыре прелестные девушки часто появлялись в мрачных коридорах версальского дома предварительного заключения, превращенного в 1871 году в государственную тюрьму. То были Мария Ферре, с черными большими глазами и темными тяжелыми косами, совсем еще юная дочь Рошфора и две сестры Росселя – Бэлла и Сарра.

В Париже две женщины думали в это время о своих братьях; одна с гордостью вспоминала убитого, другая вечно терзалась сомнением, жив он или нет: сестра Делеклюза и сестра Бланки.

В ночь с 27 на 28 ноября меня вызвали в контору аррасской тюрьмы и предупредили, чтобы я готовилась к отъезду в Версаль.

Не помню, в котором часу мы вышли из тюрьмы, во всяком случае, была ночь. Шел сильный снег, меня сопровождали два жандарма. На вокзале пришлось долго ждать поезда, и зеваки подходили ко мне, рассматривая меня как диковинного зверя и пытались даже вступить в разговор.

Но я так отвечала этим господам, что никто из них не решался дважды обращаться ко мне с вопросом, и они отошли на почтительное расстояние, глядя на меня вытаращенными глазами.

Один из них, помнится мне, сказал, что на утро назначены казни в Сатори.

- Тем лучше, - ответила я ему, - эти казни приблизят время расправы с версальцами.

Жандармы поспешно увели меня в другую комнату. Нам пришлось еще долго ждать поезда.

В Версале я встретила на вокзале Марию Ферре, бледную как смерть, но с сухими глазами; она приехала требовать выдачи тела своего брата.

Сопровождавшие меня жандармы были уволены потом со службы за то, что позволили мне перекинуться с Марией несколькими словами.

Газета «Свобода» в таких словах описывает, в номере от 28 ноября, казнь в Сатори:

Действительно, осужденные держались весьма твердо. Ферре, прислонившись к столбу, бросает на землю свою шляпу. Подбегает сержант, чтобы завязать ему глаза; но Ферре берет повязку и бросает ее на шляпу. Трое осужденных остаются одни у своих столбов, и три карательных взвода, быстро приблизившись, дают залп.

Россель и Буржуа падают сейчас же. Ферре на мгновение остается на ногах и затем падает на правый бок.

Старший полевой хирург Дежарден спешит к трупам. Он делает знак, что Россель мертв, и подзывает солдат, чтобы добить Буржуа и Ферре.

Вот письмо Ферре к сестре, написанное за несколько мгновений до казни:

Версальская одиночная тюрьма, камера № 6.

Вторник, 28 ноября 1871 г., 5 1/2 ч. утра

Дорогая сестра!

Через несколько мгновений я буду мертв. В последнюю минуту я буду вспоминать о тебе. Прошу тебя, потребуй, чтобы тебе выдали мое тело, и похорони его вместе с телом нашей несчастной матери.

Если можешь, напечатай в газетах о часе погребения, чтобы друзья могли проводить меня. Само собой разумеется, никакого церковного обряда: я умираю, как и жил, материалистом.

Снеси венок из иммортелей на могилу матери.

Постарайся вылечить брата и утешить отца; расскажи обоим о том, как я их любил.

Целую тебя тысячу раз и тысячу раз благодарю тебя за те заботы, которыми ты не переставала меня окружать. Преодолей свое горе и будь на высоте положения, как ты мне не раз обещала. Что до меня, то я счастлив: приходит конец моим мученьям, и потому жаловаться мне не на что. Все мои бумаги, платье и другие вещи должны быть выданы тебе, за исключением денег, которые я оставляю в конторе для менее несчастных заключенных.

Т. Ферре

Судья Мерлен представлял в одном лице и военный суд, и руководителя казней.

Кровью казненных был залит не только Париж, но и вся провинция.

Тридцатого ноября, два дня спустя после казней в Сатори, Гастон Кремье[187] был отведен в Марселе в долину Фаро, идущую вдоль морского берега, где незадолго перед тем расстреляли солдата по имени Паки, который перешел на сторону народа.

Кремье сам скомандовал:

– Пли!

После этого он хотел крикнуть:

– Да здравствует Республика! – но успел произнести лишь половину фразы.

После каждой казни солдаты проходили церемониальным маршем перед трупом под звуки труб. Так было в Версале, так же было и в Фаро.

Через некоторое время был приговорен к смертной казни старик Этьенн[188], но ему, правда, она была заменена пожизненной ссылкой.

У дверей дома Гастона Кремье лежали листы, испещренные подписями. Такая манифестация испугала правительство. Видя, что все честные люди настроены к нему непримиримо, оно решило прибегнуть к террору.

Почти через год после Коммуны, 22 февраля 1872 года в 7 часов утра, столб в Сатори еще раз обагрился кровью. Лагранж, Эрпен Лакруа и Вердагер, храбрые бойцы Коммуны, заплатили жизнью, как и многие другие, за смерть двух генералов – Клемана Тома и Леконта, которых Эрпен Лакруа хотел спасти и которые сами погубили себя.

Двадцать девятого марта казнен был Прео-де-Ведель. Тридцатого апреля – Жентон[189], который, страдая от ран, притащился на место казни на костылях, но у рокового столба встал прямо и твердо.

Двадцать восьмого были казнены Серизье, Буден и Буен, которые убили в майские дни одного субъекта, сильно мешавшего делу обороны[190].

Шестого июля – Бодуен и Руляк, за «поджог» церкви Сент-Элуа и за защиту баррикад.

Прибыв к «позорному столбу», последние двое разорвали веревки, которыми были связаны, и напали на конвойных. Их убили, как быков на бойне.

– Вот этим они мыслили, – сказал командир взвода, кончиком сапога касаясь разбрызганного по земле мозга казненных.

В свое время версальцы громоздили горы трупов. Теперь они принялись громоздить приговор на приговоре; раньше они бредили кровью, теперь – судебными процессами. С помощью террора Версаль надеялся навеки водворить в стране тишину и безмолвие.

Были случаи вынесения смертных приговоров журналистам за газетные статьи. Так, за статью в газете «Монтань» («Гора») был приговорен к смертной казни Марото...

Девятнадцатый номер «Монтань» (один из последних) повлек за собой смертный приговор редактору, привести который в исполнение, однако, не решились. Его заменили бессрочными каторжными работами; он был отправлен на остров Ну...

Марото, страдавший грудной болезнью еще до своей высылки, умер 18 марта 1875 года в возрасте, кажется, 27 лет.

Он болел уже лет шесть. Но когда подходил конец, и 16 марта началась агония, он вдруг поднялся и, обращаясь к доктору, спросил:

– Не может ли наука продлить мою жизнь до дня моего рождения, до 18 марта?

– Вы будете жить, – сказал доктор, с трудом сдерживая слезы.

Действительно, Марото умер 18 марта.

Долгое время глаза его казались живыми, словно устремленными из глубокого мрака смерти на приближающееся мщение народа.

Альфонс Эмбер был также присужден к пожизненным каторжным работам за газетные статьи. Ему поставили в вину, будто бы номер «Пер Дюшена» от 5 апреля привел к аресту Шодэ, хотя о последнем там и не говорилось...[191]

Рошфор был присужден к заключению в крепость тоже отчасти за газетные статьи, но главным образом за ту громадную роль, которую он сыграл в деле низвержения империи.

Статьи, появившиеся в «Мо-д'Одр» после первой бомбардировки Парижа, приводили в ужас Версаль...

Дело шло о разрушенной крысиной норе на площади Сен-Жорж[192]. Как известно, первой заботой старого гнома было выстроить себе за государственный счет целый дворец на месте прежнего дома.

«Мо-д'Одр» 4 апреля дала следующую справедливую оценку этому поступку Коммуны:

Тьер владеет на улице Сен-Жорж великолепным отелом, в котором находится целая коллекция всякого рода произведений искусства.

У Пикара в Париже, откуда он бежал – три дома, дающих колоссальный доход, а Жюль Фавр занимает на Амстердамской улице роскошное здание, составляющее его собственность.

Что сказали бы эти домовладельцы и вместе с тем государственные люди, если бы на бомбардировку Парижа их артиллерией население города ответило ударами лома и кирки, и если бы за каждый дом на Курбевуа, в который попадет версальская граната, парижане стали бы разрушать стены особняка на площади Сен-Жорж или отеля на Амстердамской улице?

А. Рошфор

Раскрошить немного гранита, чтобы спасти множество человеческих жизней, значило в глазах разъяренных версальцев – совершить неслыханное преступление. Злоба их перешла все границы, когда им, не позолотив, поднесли эту пилюлю.

Сперва был поднят вопрос о предании Рошфора военно-полевому суду, потом – об аресте его детей. Но, к счастью, их спас, спрятав у себя, один книгопродавец с Аркашонского вокзала; впоследствии их увез с собой Эдмон Адан.

Вскоре бешенство версальского Футрике временно улеглось, успокоенное приговорами по делам членов Коммуны, присужденных к казни, к каторге и к ссылке, а также восстановлением в лучшем, чем прежде, виде его дома. Он поразмыслил, что, не будь этот дом сначала разрушен, государство не стало бы ремонтировать его, а так как в этом разрушении, по его мнению, немалую роль сыграли статьи Рошфора, то он удовольствовался тем, что за статьи столь преступные их автора сослали на другой конец света.

Кстати, это должно было явиться наилучшим доказательством его собственной мягкости и доброты.

И вот 20 сентября 1871 года Рошфор, Анри Маре и Муро предстали перед судом, причем им предъявлены были следующие страшные обвинения: издание газеты после ее запрещения; помещение в ней заведомо ложных слухов в целях нарушения общественного спокойствия; соучастие в преступном возбуждении гражданской войны; соучастие в подстрекательствах к грабежу и убийствам; оскорбление главы правительства; оскорбление Национального

собрания.

Председатель суда Мерлен приобщил к делу все статьи «Мо-д'Ордр», например от 2 апреля, в которой Футрике предупреждался, что против него будут применены все средства, какие только удастся изобрести для его гибели, или от 3 апреля, в которой члены правительства именовались шутами; статьи о Бланки, о доме на площади Сен-Жорж, о колонне... Гаво произнес обвинительную речь самого ужасающего свойства, но на этот раз его бред не имел большого успеха, и Рошфор был приговорен лишь к пожизненному заключению в крепость.

Муро, секретарь редакции, был приговорен к пожизненной ссылке.

Анри Маре – к пяти годам тюрьмы.

Локруа, прогуливаясь как-то за городом и отойдя слишком далеко от Парижа, был задержан и заключен в Версальскую тюрьму, где просидел вплоть до вступления армии в Париж. Футрике предлагал ему выбор между тюрьмой и креслом «неприкосновенного» депутата Национального собрания, но Локруа предпочел тюрьму.

Мерис, посетившая меня в тюрьме, рассказала мне, что мужа ее тоже арестовали.

Версалью хотелось, кажется, арестовать весь свет. Через несколько дней после суда над Рошфором Гаво, которого выслушанные им идеи окончательно сбили с толку, сошел с ума, как и следовало ожидать.

Стали судить малолетних «питомцев Коммуны». Им было по восемь, одиннадцать, двенадцать лет, самым старшим – четырнадцать или пятнадцать.

Сколько из них умерли в исправительных домах, не дождавшись совершеннолетия!

Швейцария, как и Англия, выдать беглецов Коммуны отказалась; так, она не выдала Разуа, которого требовал Версаль. Венгрия отказала в выдаче Франклина. Рок-де-Фильоль, мэр Пюто (кристальной честности человек), был приговорен к каторжным работам, словно на смех.

Фонтен, заведовавший городскими имуществами при Коммуне, человек, безусловно, честный, был приговорен к двадцати годам каторжных работ за пропавшие при пожаре Тюильри безделушки. Скоро они и так называемые произведения искусства из дома Тьера были найдены в мебельных складах и музеях. Они были оценены выше стоимости, хотя как произведения искусства они не стоили ровно ничего.

Последняя казнь в Сатори имела место 22 января 1873 года. Расстреляны были: Филипп, член Коммуны, Бено[193] и Декан, за участие в обороне Парижа и поджог Тюильрийского дворца.

Они пали с возгласом: «Да здравствует социальная революция! Да здравствует Коммуна!»

В сентябре были расстреляны за те же «преступления» Лолив[194], Денивель и Дешан. Умирая, они кричали: «Долой подлецов! Да здравствует всемирная республика!»

Какой прекрасной представлялась она тем, кто умирал за нее у «позорного столба»!

За два года в Сатори пролилось столько крови, что земля была ею удобрена.

Коммуна умерла, но революция осталась жива. Безостановочный ход прогресса и человеческой эволюции из века в век, из поколения в поколение выливается в новую форму.

Четвертого декабря Лисбони, едва державшийся на костылях, которые ему пришлось потом волочить на каторге целых десять лет, предстал перед военным судом. Ему был вынесен смертный приговор, но казнь заменили более медленной смертью – пожизненной каторгой, из которой он, однако, вышел.

После Лисбони судили Эртебиза, секретаря Комитета общественного спасения.

Разыскали всех, кто писал что-нибудь против Версаля.

Лепеллетье[195] и Пейрутона приговорили к нескольким годам тюрьмы.

Если бы мы пожелали, приговоры над нами формально можно было бы аннулировать, ибо военные суды пользовались, без всяких изменений, отпечатанными при империи бланками, где нам предъявлялось обвинение «по докладу и заключениям господина императорского комиссара»...

Перехожу к резюме моего процесса, взятому у Лиссагарэ:

– Я не хочу защищаться и не хочу, чтобы меня защищали! – восклицает Луиза Мишель. – Вся моя жизнь принадлежит социальной революции, и я принимаю на себя ответственность за все свои действия без исключения. Вы упрекаете меня в том, что я принимала участие в казни генералов. На это я отвечаю: они хотели стрелять в народ, и, будь я там, я не поколебалась бы приказать расстрелять их, раз они отдавали подобные приказания.

– Что касается поджога Парижа – верно, я принимала в нем участие, так как хотела задержать наступление версальцев преградой из огня; но соучастников у меня не было: я действовала по собственному побуждению и за свой страх.

Обвинитель Дельи требует смертной казни.

Луиза Мишель. От вас, которые именуют себя военным судом и выдают себя за моих судей, но при этом не прячутся, как «комиссия помилования», а действуют открыто, я требую одного: смерти в Сатори, где уже пали мои братья. Вы говорите, что меня надо изъять из общества, и вам приказано это сделать. Ну что ж! Комиссар Республики прав. Так как всякое бьющееся за свободу сердце имеет право только на маленький кусочек свинца, то и я требую своей доли. Если вы оставите мне жизнь, я не перестану кричать о мщении и призову своих братьев к мести убийцам из «комиссии помилования».

П р е с е д а т е л ь. Я не могу больше позволить вам говорить.

Л у и з а М и ш е л ь. Я кончила... Убейте меня, если вы не трусы.

У них не хватило мужества убить ее сразу. Она была приговорена к заключению в крепость.

Луиза Мишель не была единственной в своем роде. Многие другие женщины, в том числе Лемель и Огюстина Шиффон, показали версальцам, как страшны парижские женщины, даже когда они в цепях[196].

Когда Огюстина Шиффон прибыла в централ Оберива, – в этот старый замок, превращенный в смирительный и исправительный дом, где мы должны были ждать государственного корабля, который отвез бы нас в Новую Каледонию, – то, надевая на руку свой каторжный номерок, она воскликнула: «Да здравствует Коммуна!» Помню, что мой номер был 2182. Значит, две тысячи сто восемьдесят один человек прошел до меня через эту тюрьму. Какая бесконечная вереница!

Суд над гражданкой Лемель состоялся лишь очень поздно: не желая пережить гибель Коммуны, она заперлась в своей комнате с жаровней, наполненной горящими угольями, когда явились арестовать ее. Она была спасена от смерти, чтобы предстать перед военным судом.

Пока же ее поместили в больницу; несколько раз ей предлагали устроить побег, но она отказывалась.

Когда Лемель прибыла в Оберив, мы встретили ее возгласами «Да здравствует Коммуна!». То же кричали мы и при встрече Экскофон, Пуарье, Огюстины Шиффон и какой-то старушки, которая сражалась еще в Лионе в те времена, когда рабочие писали на своих знаменах: «Жить, работая, или умереть, сражаясь»[197]. Все свои силы она отдала борьбе за Коммуну. Звали ее Делетра. Несколько дней тюрьмы – этим все было сказано. Из этой тюрьмы через маленькое слуховое окошечко можно было видеть значительную часть окружающей местности.

По тюремным правилам в дни религиозных процессий нужно было или дать запереть себя в камере, или присоединиться к процессии. Наступил день праздника «тела Господня», и мы выбрали первое, т. е. одиночное заключение, – что весьма разочаровало любопытных, сбежавшихся со всех концов департамента Об, чтобы поглазеть на нас.

Версия #3

Зверобой создал 29 мая 2025 08:00:55

Зверобой обновил 29 мая 2025 08:06:28